ГЛАГОЛ 2

ГЛАГОЛ 2

ГЛАГОЛ

АРДИС

ГЛАГОЛ Copyright © 1978 by Ardis, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Michigan 48104. Selected, designed and typeset by Carl R. Proffer and Ellendea Proffer. Manufactured by McNaughton & Gunn Lithographers, Ann Arbor, Michigan. *ISBN 0-88233-360-7.* *"The Music School" translated from* The Music School *by John Updike. Copyright © 1964 by John Updike. First appeared in* The New Yorker. *Reprinted by permission of Alfred A. Knopf, Inc. John Updike's "The Crunch of Happiness" and "Van Loves Ada, Ada Loves Van," both first printed in* The New Yorker, *translated from* Picked-up Pieces *by John Updike. Copyright © 1975 by John Updike. Printed by permission of Alfred A. Knopf, Inc.*

СОДЕРЖАНИЕ

Проза

Фазиль Искандер, *Пастух Махаз* (Глава из романа *Сандро из Чегема)* *7*

Александр Шеф, *Фигурончик*..... *39*

Андрей Битов, *Дежурный* (Глава из романа *Пушкинский дом)* *65*

Перевод

Джон Апдайк, *Музыкальная школа* (перевод Владимира Козловского) *89*

Воспоминания

Л. Е. Белозерская, *Воспоминания о М. А. Булгакове*..... *97*

Архив

Владислав Ходасевич, *Из записной книжки*..... *113*

Владислав Ходасевич, *План разговора с Луначарским*..... *121*

Николай Евреинов, *Письмо Н. И. Бутковской*.....*123*

М. А. Булгаков, *Два письма П. С. Попову*..... *127*

Лев Шестов, *Тургенев* (глава из неопубликованной книги) *131*

Владимир Набоков

Джон Апдайк, *Похрустывание счастья* (В. Набоков, *Подвиг)* *142*

Джон Апдайк, *Ван любит Аду, Ада любит Вана* (В. Набоков, *Ада)* *148*

Библиография произведений В. Набокова *165*

Об авторах — 166

ГЛАГОЛ

Фазиль Искандер

ПАСТУХ МАХАЗ
(Глава из романа "Сандро из Чегема")

У него было семь дочерей и ни одного сына. А он очень хотел иметь сына, которому можно было бы оставить хозяйство и скот и который стал бы его, пастуха Махаза, продолжением в будущей жизни, когда Махаза уже на этом свете не будет.

После каждой дочери он ждал сына, старался зачать сына, но у него рождались только дочери,и после четвертой он в глубине души перестал верить, что у него может родиться сын, и с вялым любопытством ждал, чем окончатся очередные роды жены, хотя и теперь помимо его разума и воли в сознании теплилась надежда: а вдруг повезет?

Но не было случайного везения. Семь раз одна за другой шли дочери, семь богатырских дочерей родила ему его неутомимая жена Маша, из которых старшая уже была замужем за сыном мельника, а младшая еще не ходила в школу, но уже могла растрясти персиковое деревце, чтобы полакомиться его плодами.

После седьмой девочки он смирился с тем, что у него не будет сына. Видно там, наверху, тот, кто решает, каким должен быть урожай кукурузы в этом году, чью именно корову должен медведь выбрать в стаде и зарезать, каким краем села должна пройти туча, наполненная гибельным градом, как мешок камнями, и когда именно должен прорваться этот мешок, словом, тот кто решает все это, отметил там у себя в небесной книжице, что надо пастуху Махазу не давать зачать мальчика и приставил следить за этим одного из своих ангелов-слуг.

И хотя чегемцы не раз объясняли ему свою теорию чадотворящих форм, то есть, что бывают такие женщины, которые носят в себе две чадотворящие формы, формы мальчика и девочки, а есть такие, внутри которых только одна чадотворящая форма, вот она и лепит себе только мальчиков или только девочек, он, пастух Махаз, считал все это глупым предрассуд-

ком. Когда разговор заходил на эту тему, он всегда насмешливо улыбался и кивал на небо:

— Все в его руках... Если он захочет, женщина и медвежонка родит...

Был Махаз человеком мирным и молчаливым, жил в основном на колхозной ферме, вдали от людей. Дома бывал мало, за целое лето, бывало, спустится раз или два с альпийских лугов, чтобы помыться как следует да сменить белье, да сделать по хозяйству кое-что, и снова в горы.

Весной и осенью бывал чаще. Весной вспахивал и засеивал приусадебный участок, а осенью собирал урожай кукурузы и винограда, готовил вино, которое в основном распивали многочисленные гости его жены, которых он терпеть не мог, но вынужден был примириться с ними в виду неукротимого жизнелюбия и гостелюбия жены.

Если его кто обижал из колхозного начальства или соседей, он никогда не находился, чтобы ответить на обиду сразу, и угрюмо замыкался, а обида, бывало, через много дней вырывалась иногда в совершенно неожиданном месте.

Так однажды на альпийских лугах, когда одна коза забралась на слишком отвесную скалу, откуда она могла сорваться и погибнуть, он не только не поленился вскарабкаться на эту скалу, но поймав ее за ногу одной рукой, другой избил вырывающуюся и ничего не понимающую козу, что было опасно не только для жизни козы, но и для его собственной жизни.

Эта экзекуция была ответом на приказ правления колхоза взыскивать с пастухов стоимость погибшего от стихийных сил скота. Приказ этот был вызван тем, что слишком много скота погибало на летних пастбищах. Летом на альпийских лугах, вдали от всякого начальства, пастухи нередко резали скот для себя, списывая его потом на стихийные бедствия. Так что приказ этот был справедлив по отношению к тем пастухам, которые злоупотребляли доверием, но был он несправедлив по отношению к Махазу, который никогда такими делами не занимался. Таким образом, избивая козу, пасшуюся на слишком рискованном месте, он отводил душу, даже как

бы вступал в полемику с правлением колхоза.

Четыре года тому назад жена его отправила в город старшую после вышедшей замуж дочку Маяну, чтобы она там окончила абхазскую десятилетнюю школу. В Чегеме была только семилетка.

И хотя сам Махаз был против этой поездки, он считал, что семилетней учебы вполне достаточно для девушки, ему пришлось уступить настояниям жены. Могучую девушку снарядили, как могли, дали ей в руки красный фанерный чемодан, с который тетя Маша сама когда-то перебралась в Чегем, и отправили в город.

Хотя в городе жила сестра Махаза, девушку поместили у дальнего родственника тети Маши, работавшего в магазине и готового вот-вот лопнуть от полноты достатка. Так говорила о нем тетя Маша.

Кстати, в городе был и интернат для таких вот молодых людей из дальних сел, но тетя Маша считала; что отдавать девушку в интернат в городе, где ее родственник лопается от достатка, было бы смертельным оскорблением не только ему, но и всем родственникам тети Маши.

Между прочим, родственник этот никогда Маяну в глаза не видел и как-нибудь пережил бы ее самостоятельное пребывание в Мухусе. Тем не менее этот маленький красавчик, умевший ловко обделывать свои дела, весело и охотно принял у себя в доме свою многоюродную племянницу.

Он почти сразу стал за ней ухаживать, нагло выдавая свои знаки внимания за внезапно вспыхнувшие родственные чувства. Эта могучая горная девушка ему понравилась. К несчастью, он тоже понравился Маяне, хотя она этого не осознавала.

Она давно себе вымечтала образ богатырского мужчины, который ей когда-нибудь встретится и которого она полюбит на всю жизнь. Так что ухаживания хохотуна-кукленка, как она его называла про себя, она не принимала всерьез.

Однажды в городе она встретила целую дюжину богатырского роста молодых людей. Сердце у нее замерло в груди,

ей показалось, что она встретила представителей племени ее будущего жениха. Она даже подумала, что ее будущий жених может оказаться одним из этих парней. Замирая от волнения, она пошла за ними, стараясь идти незаметно и вскоре все они пришли на городскую баскетбольную площадку. Увидев, что они, как дети, отнимают друг у друга мяч и поняв, что они не представляют единое племя богатырей, она разочаровалась в них и ушла домой.

Жена Шалико, так звали родственника Маяны, довольно часто уезжала в село к своим близким: то на свадьбу, то на похороны, то навещать больных. В таких случаях она просила Маяну присматривать за детьми, что Маяна делала умело и охотно, потому что в доме у себя была приучена нянчиться со своими младшими сестренками.

Маяна добросовестно кормила и укладывала детей, их было двое, снисходительно отмахиваясь от своего маленького дяди, пристававшего к ней.

— Ну, до чего ж ты мал, — говаривала она иногда, откладывая тетрадь или книгу, чтобы взглянуть на него, вертевшегося рядом, норовя поцеловать ее или приобнять.

— У маленькой кукурузы початок большой, — говорил он ей весело.

— Не всегда, — уточняла Маяна, подумав и совершенно не понимая его темных острот.

В этом месте он почему-то начинал хохотать, и Маяна, смущаясь, чувствовала, что ей приятно ее собственное смущение.

— Смотри, — грозила она ему кулаком, — если покусишься, черепушку проломаю...

В знак полного признания своей слабости в ответ на ее слова, он, как в кино, подымал вверх руки. Бедняга, думала о нем Маяна, чувствуя свое нешуточное превосходство над ним в физической силе.

Но то, что должно было случиться, случилось. В ту ночь, пользуясь отсутствием жены, уехавшей на сороковины умершего родственника, он полез к Маяне в постель. Сначала

Маяна легко отбивалась от него, приговаривая: — Ну до чего же хитрый... Господи, какой хитрец... Вы посмотрите, чего надумал этот бесенок...

Да я его в случае чего одной рукой придушу, думала она, и в то же время этой же рукой с силой прижимала его к себе, тем самым, как ей казалось, показывая ему, как она его будет душить в случае надобности.

Бедняга Маяна не знала, что с природою шутки плохи, да она сама была частью этой природы и что тут удивительного, если она этого не понимала.

Через час, расплатившись за ее невинность клоком волос, вырванным из его головы, недодушенный родственник ушел к себе в комнату. Маяна поплакала, поплакала и покорилась своей новой судьбе.

Жена Шалико продолжала время от времени навещать своих родственников....

Через четыре месяца бедная Маяна, бросив школу, внезапно возвратилась домой, неся в руке свой красный фанерный чемодан, а в животе плод от этого ужасного хитреца.

Тете Маше кое-как удалось замять эту историю, и бедняга Маяна, выплакав все глаза, поняла, что теперь на богатыря нечего рассчитывать. Через год по настоянию матери она вышла за довольно старого человека, жившего в соседнем селе. Тетя Маша называла его не старым, а почтенным человеком.

Почтенному человеку было под семьдесят лет и по слухам, которые распростаняли чегемцы, ссылаясь на верные источники, по этим слухам Маяна в первую же брачную ночь сломала своему почтенному мужу два ребра, которые до конца его жизни так и не срослись.

Но опять же, если верить чегемским слухам, старик оказался на высоте, потому что будучи человеком со сломанными ребрами, он, по крайней мере, успел зачать еще двух детей, если первого ребенка, как предполагали чегемцы, он успел зачать до того, как треснули его ребра. Всего у него родилось три ребенка, причем, что опять же отмечалось чегемцами, первой

родилась девочка, а двое других оказались мальчиками.

Отголоски этих слухов доходили до отца Маяны, он прислушивался к ним и, сопоставляя с явью, решил, что там наверху старика наградили мальчиками за проявленное мужество. Все же нелегко в его возрасте да еще со сломанными ребрами взнуздать такую могучую девушку, как его Маяна.

Тетя Маша думала, что муж ее ничего не знает о том, что случилось с Маяной. Во всяком случае до поры так думала. До той поры, пока он однажды, сидя перед костром в мокрой одежде, весь в клубах пара, вдруг пробормотал то, о чем не переставая думал многие дни и многие ночи:

— На старичишке решила зло сорвать... Ты бы в городе кой-кому ребра пересчитала бы...

Тетя Маша, тяжело вздохнув, промолчала и больше к этому ни прямо, ни намеками они не возвращались.

Кстати, когда Маяна выходила замуж, городской родственник тайно через людей передал подарок для Маяны: новые туфли, драповый отрез на пальто, тысячу рублей денег.

Подарок, что ни говори, был богатый, и тетя Маша втайне от мужа, что сделать было легко, переправила его дочери. Дочка не приняла ничего, велев передать матери, что туфли ей и так и так малы, а подарок она все равно брать не будет.

Прошло три года, в течение которых Маяна благополучно рожала своих детишек, а чегемцы поутихли, во всяком случае перестали гадать о состоянии ребер старого мужа Маяны.

К этому времени у тети Маши созрел план послать в Мухус на бухгалтерские курсы следующую за Маяной дочку Хикур. Сам председатель колхоза надоумил ее, сказав, что он отхлопотал у райкома местечко на этих курсах, чтобы послать туда кого-нибудь из чегемцев.

Когда слухи об этом дошли до колхозной фермы, Махаз, никому ничего не сказав, покинул ферму, пустился по верхнечегемской дороге, обогнул свой дом, спустился в котловину Сабида и, подойдя к молельному ореху, дал клятву выпить кровь того, который в городе или в любом другом месте покусится на его дочь Хикур.

Дав клятву, он успокоился и по дороге на ферму заглянул домой. Он не только успокоился, он просто не мог унять тайного ликования, охватившего его душу. Когда жена выложила ему свои соображения по поводу Хикур, он ей ответил:

— Хоть к дьяволу в пекло посылай... Я сейчас был у молельного ореха и дал клятву выпить кровь того, кто покусится на мою дочь...

— Авось не покусится, — отвечала тетя Маша, — да и жить она будет в общежитии, хотя этот наш злодей и лопается от достатка.

Так и уехала следующая дочка тети Маши, еще более могучая и цветущая девушка Хикур. Она поступила на бухгалтерские курсы, хорошо училась, жила в общежитии, но сердце, сердце юной горянки (о чем никто не подозревал) пылало яростной жаждой возмездия. Она была еще девочкой, когда ее обжег слух о том, что случилось с Маяной. Ни разу никому из взрослых не показав, что она знает о случившемся, она страдала и вынашивала мысль о справедливой мести.

Бедняга Маяна была слишком доброй и доверчивой, а этот негодяй ее обманул. О, если бы Хикур была на ее месте, она бы показала ему! Она бы свернула ему голову, как цыпленку!

Хикур хорошо училась на курсах и в свободное время гуляла по городу, надеясь, наконец, встретиться с совратителем своей сестры и как-нибудь отомстить ему.

Внешность его она запомнила еще с тех пор, как Маяна училась в городе. Тогда она приезжала с отцом на базар продавать грецкие орехи, и они два дня пробыли в городе и несколько раз видели своего веселого родственничка.

Она ожидала, что приехав учиться в город, где-нибудь обязательно встретится с этом негодяем. Но вот уже прошло несколько месяцев, а он нигде не попадался. Ей было удивительно, что он ей нигде не попадается. Она ждала этой встречи, чтобы отомстить ему, хотя сама ясно не могла представить, как именно она ему будет мстить.

Первым делом надо было его как-нибудь встретить.

Она стала прохаживаться по улице, где он работал. Однажды он прошел мимо нее с каким-то товарищем. Он не заметил, или не узнал ее. Это ее еще больше подзадорило, она стала чаще прохаживаться по этой улице. Однажды, когда он шел ей навстречу, поигрывая связкой ключей от магазина, они столкнулись, и он ее узнал.

— Послушай, да ты не сестричка ли Маяны? — спросил он удивленно и ничуть, как она заметила, не смущаясь.

— Вроде бы, — ответила Хикур, как ей казалось, язвительно.

— Ну и растете же вы, — сказал он, с удовольствием оглядывая ее обильную цветущую плоть.

— Кто вверх растет, а кто в землю, — отвечала она, намекая на его коварство.

— Да ты, я вижу, бойкая! — сказал он, продолжая оглядывать ее.

— Уж не Маяна, — отвечала она с грозным намеком, но он сделал вид, что ничего не понял.

— И Маяна была хороша, — возразил он примирительно, — слава богу, вышла замуж... Живет... Как отец?

— Дал клятву перед молельным деревом, — сурово отвечала Хикур, — выпить кровь того, кто покусится на меня...

Она почувствовала, что в городе, где бегают машины и громоздятся большие дома, клятва отца звучит неубедительно.

— Да кто ж тебя такую тронет! — радостно вскрикнул он, — да ты сама, небось, кого хочешь, убьешь!

— Пусть только покусится, — отвечала Хикур важно, и он рассмеялся.

Он пригласил ее заходить, и через несколько дней она пришла к ним в дом. Она решила, что это нужно для ее будущей мести. Жена его очень обрадовалась ей и, вспоминая Маяну, все удивлялась ее внезапному отъезду, из чего Хикур заключила, что она ничего не знает о случившемся с сестрой. До чего же хитер, думала Хикур, глядя на своего родственничка, весело мельтешившего перед ней.

Она стала приходить к ним в дом. Хикур решила подпус-

тить его поближе и когда станет ясно, что он покушается на ее невинность, убить его или еще лучше навеки изуродовать. Теперь жена Шалико сама, если уезжала куда-нибудь, приглашала Хикур посмотреть за детьми, и Хикур приходила и оставалась ночевать, ни на мгновенье не забывая о своем замысле.

Хикур кормила, укладывала детей спать, теперь их было трое, и все думала о предстоящей мести и все не могла выбрать способ, самый внушительный и беспощадный.

Она еще не могла решить, на какой именно стадии ухаживания она может с полным правом проломить ему череп, задушить его или навеки изуродовать. Дальше поцелуев он пока не шел, а Хикур считала, что этого вроде недостаточно, чтобы задушить человека, или, скажем, проломить ему спину, чтобы он сделался горбуном. По ночам, обдумывая этот способ мести, она язвительно улыбалась, представляя, как он, и без того маленький, а теперь сгорбившись, едва торчит над прилавком своего магазина.

А между тем, Шалико ждал, когда она привыкнет к его поцелуям и ласки его вызовут в ней ответную вспышку чувственности.

Никаких укоров совести по поводу судьбы Маяны он не испытывал. Он решил, что все кончилось благополучно, он хорошо одарил Маяну, а то, что она вышла замуж за старого человека, так это их дело, мало ли в деревнях выходят замуж за стариков.

Наконец, наступила ночь, когда они снова остались в доме одни, и каждый про себя решил, что этой ночью все случится. Уложив его детей, Хикур не стала сидеть за учебниками, а отправилась спать, чутко прислушиваясь к тому, что происходит в доме.

Он долго не приходил, и она решила: ждет, чтобы дети крепче уснули. Или ждет, чтобы она уснула? Ну нет, этого он не дождется! Примерно через час, он погасил свет и, разувшись, тихонько вошел в ее комнату. Хикур лежала, не шевелясь.

Она вдруг почувствовала, что боится его нерешитель-

ности. Он стоял у дверей и смотрел на кровать, где, замерев, лежала Хикур, боясь, что он испугается и уйдет.

Она чувствовала в себе силы и способности выполнить то, что задумала. Она только боялась, что дети проснутся и начнут плакать, если что-нибудь услышат. Теперь она окончательно утвердилась в мысли, что задушит проклятого совратителя, заткнув подушкой ему лицо.

Он тихонько подошел к кровати и присел рядом. Я примну его подушкой, думала Хикур, тихо ликуя, я буду давить его подушкой, пока он не перестанет барахтаться под ней.

Он уже наклонился над ней и начал осторожно целовать ее, а она продолжала делать вид, что спит, чтобы не вспугнуть его, а он делался все смелее и смелее, а она, дожидаясь мгновенья, когда нужно будет кинуться на него и прихлопнуть его подушкой, вся замерла, но на миг, прислушавшись к его ласке, что-то упустила и уже не могла поймать то, что упустила, не могла решиться, не могла ничего, потому что сладостная слабость обволокла ее тело и душу.

Ее девичество не обошлось Шалико и клоком волос, когда-то вырванным из его головы Маяной. Он тут же уснул, а Хикур плакала, плакала, уткнувшись головой в подушку, которой собиралась душить совратителя сестры. Сейчас он спал, приоткрыв рот, и она могла сделать с ним все, что хотела, но она понимала, что сейчас это ни к чему, это глупо и поздно и...жалко... Так Хикур не удалось отомстить за свою сестру.

Время шло, и жена Шалико продолжала ездить навещать своих деревенских родственников.

* * *

Примерно через три месяца после этой роковой ночи Махаз пахал на своем приусадебном участке. Близился полдень, и пахарь уже настораживал слух в сторону дома, ожидая, что вот-вот жена его должна позвать обедать да и быкам пора передохнуть.

На мгновенье приподняв голову, чтобы утереть пот

с лица, он вдруг увидел, что по дороге к дому вдоль плетня приусадебного участка идет дочь его Хикур с проклятущим красным чемоданом в руке. Чего это она вдруг приехала, подумал Махаз, чувствуя, что случилось что-то недоброе. Лицо девушки было сумрачно и ничего хорошего не предвещало.

— Ты чего? — крикнул он ей, когда она по ту сторону плетня поравнялась с ним.

Девушка сумрачно посмотрела на отца и, ничего не говоря, пошла дальше. На ней было драповое пальто из присланного когда-то для Маяны отреза. Да и сама она сейчас точь-в-точь была похожа на Маяну, когда та приехала из города с этим же чемоданом в руке. Пораженный догадкой, Махаз несколько минут простоял неподвижно.

— Да на вас стариков не напасешься! — крикнул он в сторону исчезнувшей дочки и погнал быков. — Ор! Хи! Волчья доля!

Он решил не жалеть быков и допахать участок. Он знал, что пришел его час. Он допахал участок, загнал быков во двор и вошел в кухню, где заплаканная его дочь сидела у огня рядом с матерью. Когда он вошел, дочь его замолкла.

— Полей отцу, — сказала мать и стала накрывать на стол. Из горницы прибежали остальные дети и уселись за столом — мал-мала меньше. Махаз сел во главу стола. На первое ели горячую мамалыгу с фасолью и квашеной капустой, на второе кислое молоко. Махаз сейчас ничего не испытывал, кроме безотчетного раздражения на красный чемодан, стоявший перед глазами по ту сторону костра. Ему казалось, что все несчастья его жизни связаны с этим красным чемоданом.

— Одному удивляюсь, — сказал он, кивая на чемодан, — с тех пор, как он здесь появился, мы успели постареть, а ему сноса нет...

Тетя Маша молча встала и убрала чемодан в горницу. Поев, Махаз снова вымыл руки и ополоснул рот. Хикур ему поливала. Вымыв руки, он взял кружку с водой и пошел за дом, где лежал большой точильный камень. Он вынул из футляра, висевшего у него на поясе, свой длинный пастушес-

кий нож и, полив водой точильный камень, стал точить свой нож. Нож и так был острый, но он решил довести его до самого предела остроты. И когда нож стал, как бритва, срезать с руки волосы, он, проведя несколько раз лезвием по своей задубевшей ладони, вложил его в футляр.

Потом он вошел в горницу, переоделся, натянул на ноги ноговицы, а самодельную обувь из сыромятной кожи сменил на городские ботинки. После этого он надел на себя ватник и, похлопав по карманам, убедился, все ли на месте. Взгляд его упал на графин с чачей, стоявший на очажном карнизе. Рядом с графином стояло несколько стопок. Одну из них он сунул себе в карман.

Он вошел в кухню, где у огня все еще сидела его жена с дочкой. Увидев его, они опять замолкли.

— Чего уж шептаться, девушки-подружки, — сказал он и, обращаясь к Хикур, добавил, — он?

— А кто ж еще, — отвечала девушка, опустив голову.

— А про клятву мою он знал? — спросил Махаз.

— Сама говорила, — вздохнула Хикур.

— Ишь ты! — удивился Махаз.

— Слушай меня, — продолжал он, все еще обращаясь к дочке и показывая, что обращается именно к ней, — отведешь быков в Большой Дом... Если я вдруг не приеду, пусть кто-нибудь из братьев засеет мой участок... Ближе к вечеру отгонишь коз на ферму, скажи, мол, уехал по делу, пусть они там кого-нибудь приставят к ним.

Он вышел во двор и, не прощаясь ни с кем, зашагал к калитке. На крутом откосе между его двором и верхнечегемской дорогой паслись его колхозные козы. Он даже не взглянул в их сторону.

— Да постой же ты! — крикнула тетя Маша и сделала несколько шагов в его сторону. Он не оглянулся и не сбавил шага.

— Чего-нибудь дурного не натвори, — сказала она, бессильно останавливаясь посреди двора.

Впервые в жизни она почувствовала, что теперь не имеет

над ним прежней власти и даже никакой власти не имеет. И впервые в жизни она почувствовала к нему уважение, которого никогда не знала.

— Худшего не натворишь, — отвечал он, не оглядываясь и пнув ногой калитку, вышел со двора и пошел тропинкой вдоль плетня, огораживающего приусадебный участок.

В Большом Доме видели, как он проходил мимо, но никто, кроме его старой матери, сидевшей на веранде, не обратил на это внимание. Она попросила домашних окликнуть его, узнать, куда это он заторопился, но никто не стал его окликать: мало ли куда человек идет!

Хотя старая его мать видела хуже всех, она по его решительной, несвойственной ему походке, поняла, что он собирается сделать что-то решительное, несвойственное ему. А по опыту своей жизни она знала, что когда мужчина пытается сделать что-то решительное, несвойственное ему, то это чаще всего кончается кровью. Ей стало тревожно за сына.

Махаз вышел из Чегема и стал спускаться вниз по крутой тропинке, ведущей к Кодору. Как только он вышел на косогор, в лицо ему ударил шум реки. Далеко внизу всеми своими рукавами мутно блестела дельта Кодора.

Окинув взглядом открывшуюся долину с дельтой реки, бегущей к морю, он вздохнул, словно впервые почувствовал власть своей роковой обязанности и одновременно конец вольной жизни, именно сейчас открывшейся ему в прощальной красоте распахнутого перед ним пространства.

Он быстро спускался легким пастушеским шагом и мелкие камушки осыпи катились вслед за ним сухим ручейком и ударяли по ногам, словно подгоняя его вперед.

Крутая тропинка напомнила ему то, о чем он в сущности никогда не забывал, вернее то, что всегда было при нем, даже если он об этом не думал.

Лет двадцать тому назад, когда он работал проводником в геологической партии, начальник партии однажды послал его в Кенгурийск, встречать его жену, ехавшую к нему из Ленинграда.

В то далекое раннее утро он стоял на пристани среди встречающих пароход, придерживая за уздечки двух оседланных лошадей. Жена начальника его сразу узнала и, прямо от трапа замахав рукой, подбежала к нему. Видно, муж ее предупредил, что встречать ее будет человек с лошадьми.

Когда она подбежала к нему, поражая его белизной лица и ослепительной улыбкой, он так растерялся, что хотел вскочить на лошадь и ускакать, но сдержался и только, скинув войлочную шапку, долго и неловко тряс протянутую ему руку.

Потом они оба засмеялись над его растерянностью и ему стало легко, легко. Он помог ей взобраться на лошадь, и она вскочила в седло, усаживаясь на нем по-мужски. Юбка на ее ноге с той стороны, с которой он ее подсаживал, слегка задралась, обнажив круглое и нежное, как щека ребенка, колено. Голова у него закружилась, и он, припав к этому прохладному колену, поцеловал его.

— Ах ты, дурачок! — сказала она и рукой отстранила его голову от своего колена. Но прикоснувшись ладонью к его голове, чтобы оттолкнуть ее, она легким движением ладони на самое маленькое мгновенье приласкала его, и он, вскочив на лошадь, ударил ее плетью и поднял на дыбы.

Ему было двадцать пять лет, и он впервые в жизни поцеловал женщину.

Три года с перерывами на зимние месяцы он служил проводником при ее муже, кое-как научился говорить по-русски и каждый раз видеть ее было для него праздником. Он никогда не пытался чего-нибудь добиваться от нее, потому что она была женой другого человека, да еще такого замечательного человека, как ее муж.

Человек этот поразил Махаза тем, что был совсем не похож на многих городских людей и в особенности на тех городских людей, которые недавно ушли из деревни, и став городскими, быстро, удивительно быстро отвыкали от физической работы, от преодоления всего того, что приходится преодолевать человеку, проводящему свою жизнь под открытым небом.

Раньше до встречи с этим человеком Махаз считал, что каждый ученый человек, начиная с тех, которые только умеют читать буквы и цифры, отходит от физической работы ровно настолько, насколько он учен. Да они и делаются учеными, считал он, начиная от всяких там писарей, именно для того, чтобы отойти от физической работы и от жизни под открытым небом.

А этот был совсем другой ученый человек. Он мог провести в седле семь-восемь часов, мог гнать коня через горный поток, развести огонь в самую мокрую погоду и спать, укрывшись буркой или русским способом, влезши в мешок для спанья.

Глядя на этого человека, Махаз убедился, что не все так просто и ученость не обязательно вызывается желанием уйти от физической работы, а может быть следствием и лучших стремлений. И за это он испытывал к нему высокое уважение и любил его жену, сам того не зная, самой чистой, самой романтической любовью.

Через три года они закончили свои работы в окрестных Чегему горах и уехали в Ткварчели, где была их основная база. Почти за год до их отъезда он стал думать, чего бы подарить жене начальника, чтобы она вместе с мужем долго помнили его. Именно в этот последний год ему в лесу попался очень редкий в наших краях рыжий медведь. Он убил его, высушил его огненную шкуру и подарил им на прощанье.

Потом он время от времени ездил в Ткварчели и навещал их, привозя с собой то бурдюк вина, то грецкие орехи, то копченое мясо, которое она впервые здесь попробовала и очень полюбила.

И когда он от них уезжал, они тоже дарили ему всякие подарки. Однажды его высокий кунак подарил ему даже двустволку. И позже, когда он женился на Маше и пошли дети, она дарила им одежду, ткани или городские сладости. Жена Махаза не только не ревновала его к ней, а, наоборот, всячески поощряла его ездить туда. И если они резали дома скотину, она говорила: — Отвез бы своим русским родственникам их пай.

Когда наступила чума тридцать седьмого года, Махаз сразу же понял, что его высокий кунак не уцелеет и предложил ему укрыться в Верхней Сванетии, где его никто не найдет. В ответ на его серьезные речи по этому поводу, кунак его почему-то только посмеивался и говорил, что не может быть такого, чтобы и его взяли.

Удивительно, как ученые люди иногда не понимают простых вещей. Через месяц после их последнего разговора на эту тему он узнал, что кунака его забрали. Промаявшись несколько месяцев, жена его уехала вместе с маленькой дочкой к себе в Ленинград.

Через год гнилое время окончилось, и людей перестали забирать, но тех, кого взяли, не выпускали. Ему бы этот год перетерпеть в горах, и он целым и невредимым вернулся бы в свою семью. Махаз понимал, что кунаку его мешала ложная гордость (стыдно прятаться), и еще, чувствовал Махаз, он не верил, что от них можно спрятаться. А Махаз прекрасно знал, что от них можно спрятаться, как прятались некоторые абреки, да и не только абреки...

Да, хорошие были люди, дай бог им здоровья, если они еще живы. Со времени их отъезда прошло три года. В первый год она им прислала несколько писем, где писала, что дома у нее все в порядке, но муж все еще в тюрьме, и хлопоты пока что не помогают. Потом переписка заглохла, и он не знал, что с ней и жив ли ее муж.

Да, около двадцати лет прошло с тех пор, как он ездил встречать жену начальника, и многое изменилось с тех пор. И сам он женился и наплодил девчонок, и старшая дочка вышла замуж по-людски, и две его девочки опозорены сукиным сыном, и он сейчас едет в город смывать с них бесчестие.

Много времени прошло с того дня, а он все так же, как и в первый год, помнит тот светлый день своей жизни. Хорошие дни выпадали и до этого дня и после, но такого счастливого не было никогда.

Махаз спустился в деревню Наа, что приютилась возле Кодора. Он вышел к реке, но паромщика на месте не оказа-

лось. Дом паромщика был расположен ниже по реке, метрах в ста от места переправы. Махаз посмотрел в сторону его дома и увидел паромщика, пашущего на своем приусадебном участке. Пастух несколько раз пронзительно свистнул, паромщик, остановив своих быков, обернулся и, подняв руку, показал, что он заметил Махаза.

Недалеко от переправы было расположено сельское кладбище. Махаз увидел, как туда прошел старый волкодав и, перескочив в два приема через деревянную ограду одной из могил, скрылся за нею.

Он знал, что это могила местного охотника, умершего два года тому назад. Он слышал об этой собаке, что она после смерти хозяина живет на его могиле. В первое время она вообще никуда не отходила от могилы ни днем ни ночью, так что родные охотника вынуждены были носить ей сюда еду. Теперь собака два-три раза в день приходит домой поесть и снова отправляется к могиле своего хозяина, словно сторожит ее.

У Махаза тоже в свое время был замечательный волкодав. Звали его Чернушка. Однажды он спас ему жизнь. Дело было так. В лесу за котловиной Сабида Махаз обнаружил у подножия дикой груши множество медвежьих следов. Видно, медведь приходил сюда лакомиться грушами. Заметив, что медведь еще не успел перетрясти все ветки с грушами, Махаз решил поставить здесь капкан и поставил его.

Дней через десять он пастушил рядом с этим местом и решил проведать свой капкан. Вместе со своей собакой он отправился туда. К подножию дикой груши вела узкая тропинка между зарослями папоротника в человеческий рост, заколюченного ежевикой.

Он шел впереди, а собака шла за ним. Шагов за десять от груши собака зарычала и попыталась выйти вперед, но он ее не пропустил. Через несколько секунд, как только он дошел до конца тропинки перед ним внезапно вырос медведь, вставший на задние лапы. Обдавая его смрадным дыханием, медведь стоял на расстоянии одного шага, и он уже ничего не мог сделать: ни снять ружья, ни отступить назад. Инстинктивно он

нырнул вперед под медведя. Медведь ударил его лапой, удар пришелся на ложе ружья. От силы удара у Махаза перехватило дыхание, и он ждал, что будет дальше, как вдруг почувствовал, что медведь зарычал и отступился.

Махаз поднял голову и увидел, что медведь стоит уже на четырех лапах, а на нем, взяв его за глотку, висит Чернушка. Через несколько секунд огромный медведь рухнул на землю, а собака, рыча, продолжала держать его за горло. Медведь был мертв.

Махаз сел на землю, чтобы немного притти в себя. Он подозвал собаку, но та, продолжая держать медведя за горло, в ответ только прорычала. Махаз заметил, что медведь рядом с капканом вырыл огромную яму. Капкан держал его за заднюю ногу. Видно, оголодав, медведь пытался добывать из земли корни.

Дрожащими пальцами Махаз скрутил цыгарку и закурил. Он снова подозвал собаку, и на этот раз она подошла к нему, но все еще была сильно возбуждена, потому что, посидев возле него несколько минут, она снова подошла к трупу медведя и рыча вцепилась ему в горло, в то же самое место, за которое она его держала до этого. Казалось, собака хотела лишний раз убедиться в том, что это именно она его задушила.

Махаз никогда не слышал, чтобы собака могла задушить медведя. Но, видимо, этот медведь сильно отощал от голода и бесполезных попыток вырваться из капкана. Конечно, не попади он лапой о приклад ружья, сил у него хватило бы двумя-тремя ударами изувечить его или отправить на тот свет. Но какова Чернушка, бесстрашно прыгнувшая на плечи вставшего на дыбы разъяренного медведя?!

Покамест он ждал паромщика, подошли двое местных крестьян, переправлявшихся на тот берег. Подошел и паромщик, и все влезли в паром. Паромщик багром оттолкнулся от берега, и паром пошел против течения, порывисто дергаясь вперед.

Узнав, что Махаз едет в город, паромщик попросил его привезти ему новый замок. Махаз отвечал, что боится, что

дело, по которому он едет в город, может его надолго там задержать.

— Что за дело? — спросил паромщик. Они уже были на середине реки и голоса заглушал шум реки.

— Дело маленькое, — крикнул ему в ответ Махаз, — да больно хлопотное!

Больше паромщик не стал у него ни о чем спрашивать. Паром ткнулся о противоположный берег, Махаз расплатился с паромщиком и спрыгнул на землю.

Давным-давно, когда сестра его выходила замуж за парня из Мухуса, он, Махаз, ехал в числе сопровождающих невесту. Они подъехали к переправе и убедились, что паром стоит на том берегу, а паромщик неизвестно где пропадает. И тогда Махаз слез с коня, влез на столб, на котором держался стальной трос, перекинутый через речку, и, не обращая внимания на крики сопровождающих — особенно кричала сестра — он, бесстрашно перебирая руками, перебрался через Кодор и, спрыгнув на том берегу на землю, оттолкнул паром и подошел на нем к другому берегу. Целый месяц после этого у него болели ладони, стертые стальным тросом.

Того парня, мужа его сестры, тоже взяли в тридцать седьмом году, и он тогда так же, как и кунаку, предлагал ему спрятаться в лесу и переждать гнилое время. Тот тоже не захотел прятаться, и вот сестра его осталась одна в городе с тремя детьми на руках. Конечно, родные ей помогают, да и сама она работает доктором в больнице, но легко ли в городе одной с тремя детьми. Ему бы переждать гнилое время, и через год целёхоньким вышел бы из леса и приехал в свою семью. Но теперь уже поздно, теперь об этом и думать не стоит...

Когда Махаз вышел в село Анастасовка, автобус, отправляющийся в Мухус, уже наполнялся пассажирами. Он взял билет, влез в автобус и сел на свое место. Всю дорогу до Мухуса он думал, зайти ли ему к сестре, увидеться с нею, а уже потом браться за свое дело, или же не стоит. В конце концов, он пришел к мысли, что не стоит растравлять сестру этой ненужной встречей. И так ей предстоит многое пережить, когда он сделает

свое дело.

От автобусной остановки в Мухусе он прямо пошел в сторону магазина, где работал Шалико. Магазин стоял на углу и поэтому он мог издали следить за ним. Он остановился метрах в тридцати от магазина и стал следить за ним. Он увидел несколько раз мелькнувшего за прилавком Шалико. Шалико был заведующим магазином. Махаз знал, что после закрытия магазина заведующий обычно остается там, то ли подсчитывает выручку, то ли еще какими-нибудь делами занимается.

Он решил встретиться с ним в этом промежутке, когда уйдут продавцы, а он еще там останется. Если же он уйдет вместе с продавцами, Махазу придется сходить к нему домой и там с ним рассчитаться. Это было довольно неприятно, потому что там жена и дети. Он был уверен, что найдет способ остаться с ним с глазу на глаз, но все равно это было неприятно.

У прохожих он узнал, что до закрытия магазина оставалось еще больше часу, но он решил никуда не уходить, а дожидаться закрытия на этом месте. Мало ли что... Вдруг они вздумают закрыть свой магазин раньше времени.

* * *

Шалико не мог понять, почему у него весь день какое-то неприятное настроение, хотя дела его шли, как никогда, хорошо. Позавчера он получил двадцативедерную бочку меда, которую вчера рано утром они открыли вместе со старшим продавцом и, взяв из бочки четыре ведра меду, влили туда столько же воды. После этого они целый час размешивали это тяжелое густое месиво, пока вода полностью не растворилась в меде.

И что же? Два дня шла оживленная торговля медом, и покупатель-дурак стоял за ним в очереди и только похваливал мед. И надо же, чтобы именно сегодня, когда мед в большой бочке кончился и он велел продавать чистый мед, те самые четыре ведра, взятые из бочки, и именно к этому меду придрался какой-то покупатель, говоря, что мед, видите ли,

горчит.

Эта незаслуженная придирка лишний раз подсказывала Шалико, что с покупателя надо драть, только делать это надо умело.

Младший продавец, когда начали продавать мед из запасной бочки, видно, кое о чем догадался. Шалико его не посвятил в эту операцию, чтобы не делиться с ним: молод еще, пусть поишачит.

Но видно он кое о чем догадывался, потому что весь день ходил надутым, и Шалико думал, что именно это ему портит настроение. Шалико никак не мог решить — заткнуть ему рот парой тридцаток или не стоит унижаться? Не стоит, наконец, решил он, пусть с мое поишачит, а потом будет в долю входить.

Год тому назад арестовали бывшего заведующего этого магазина, где Шалико работал старшим продавцом. Внезапная ревизия обнаружила в магазине мешок бесфактурного сахара, который тайно через доверенных людей переправлялся к ним с кондитерской фабрики.

Шалико был тогда в торге, и его успел предупредить один человек из торга, что у них вот-вот будет ревизия и он должен об этом сказать своему заведующему. Но Шалико нарочно не спешил в магазин. Когда он через час пришел туда, там уже шла ревизия, которая этот бесфактурный сахар обнаружила.

На суде заведующий все взял на себя, и остальных продавцов не тронули, а самого Шалико через некоторое время назначили новым заведующим.

Он испытывал некоторые угрызения совести за проданного заведующего, но утешал себя тем, что этот заведующий в в последнее время так много пил и так неосторожно себя вел, что рано или поздно сел бы сам и их мог потащить за собой.

За этот год он дважды давал по пятьсот рублей жене своего бывшего заведующего, оставшейся с двумя детьми, и она говорила, что все написала мужу и тот никогда не забудет о помощи, которую Шалико оказал своему бывшему заведую-

щему.

Так обстояли дела Шалико в тот день, когда пастух караулил его, стоя недалеко от магазина.

Кстати, в этот же день он узнал еще одну приятную новость, которая на некоторое время победила его неприятные предчувствия. Сегодня, заходя в торг, он столкнулся с другим заведующим магазина, а тот, наклонившись к нему, лукаво шепнул:

— Наш монах раскололся...

— Что ты! — удивился Шалико.

— Точно! — кивнул ему коллега.

Он рассказал, что новый инспектор, который работал у них около двух месяцев и которого все боялись, потому что он не брал взяток, пожаловался их общему знакомому, что его в торге обижают. Выяснилось, что он взяток не брал, потому что боялся напороться не на тех людей, а ему не давали, боясь, что он из тех, что не берут взяток. Недоразумение это, оказывается, благополучно разрешилось.

Все шло как надо, и сейчас, после рабочего дня, сидя в помещении склада и пересчитывая дневную выручку, которую он собирался сдавать в банк, он подумал, — вот вещь, которой можно заткнуть любой рот и любую дыру.

Он вложил деньги в специальную сумку, но не успел ее запломбировать, когда услышал осторожный скрип отворяющейся двери. Сперва у него мелькнуло в голове, что это кто-то из продавцов, что-то забыв в магазине, вернулся, но потом, увидев незнакомую фигуру в дверях, подумал, что это грабитель, и положил руку на тяжелые пломбировальные щипцы, лежавшие на столе, за которым он сидел. Незнакомая фигура продолжала стоять в дверях, и через мгновенье, узнав в ней пастуха Махаза, он побледнел.

— Добром вас, — поприветствовал он его по-абхазски и встал с места.

— Добром и тебя, — отвечал пастух и, прикрыв за собой дверь, вошел в помещение склада и огляделся. Он подумал, где бы это удобней было бы сделать, и, увидев налево от себя

железную раковину с водопроводным краном, решил, что именно здесь это надо будет сделать.

Шалико, увидев отца Хикур, сразу же вспомнил, что ему весь день портило настроение. Дело в том, что сегодня утром он заходил в общежитие, где жила девушка, и комендантша ему сказала, что Хикур сегодня рано утром уехала к себе в деревню, прихватив с собой свой красный чемодан. Комендантша сказала все это так сумрачно, словно она знала, какие отношения у него с родственницей.

А он так надеялся на сегодняшний вечер: жена уезжала в деревню и сама просила передать Хикур, чтобы она накормила детей и уложила их в постель.

Шалико почувствовал, что ее внезапный отъезд не к добру. И это портило ему с утра настроение. Потом о причине, портившей ему настроение, он забыл, а настроение осталось.

Неужели она забеременела и, как сестра ее, ничего не сказав ему, уехала в деревню?! Проклятые дикарки! Ведь здесь в городе все это можно обделать так, что все будет шито-крыто.

Ничего, главное не падать духом, сказал он себе и подумал: хорошо, что не успел запломбировать сумку с деньгами. Своих денег у него в кармане был маловато.

— Садитесь, — почтительно предложил он гостю и, показав на стул по ту сторону стола, про себя подумал: дам ему тысячу рублей и дело с концом.

Махаз не сел, и это было плохим признаком. Видя, что пастух не садится, Шалико и сам не посмел сесть.

— Так что вас к нам привело? — как можно гостеприимней спросил он, набравшись смелости.

Он лихорадочно подумал: пастух, видно, все знает про Хикур, но знает ли он про Маяну? Иногда раньше, задумываясь об этом, он решал: наверное, знает, раз цветущую молодую девушку отдали за старика. А иногда думал: может и не знает, ведь он вечно со своими козами, а тетя Маша могла все это проделать помимо мужа.

— Разве Хикур тебе ничего не говорила? — спросил

пастух.

Шалико подумал, что по мнению отца девушка должна была поговорить с ним перед отъездом. Но она ни о чем таком с ним никогда не говорила. Раз он так спрашивает про Хикур, подумал он с облегчением, значит про Маяну он ничего не знает.

— Нет, ничего не говорила, — ответил он с полной искренностью, потому что она и в самом деле ничего не говорила.

— Разве она тебе не говорила, что я дал клятву: если это случится еще раз, я выпью кровь того, кто это сделает?! — спросил Махаз.

"Еще раз!" — как эхо повторилось в голове у Шалико. Значит, он и про Маяну знает! Он решил отдать пастуху всю дневную выручку. В сумке лежала тысяча восемьсот рублей. Он еще раз с облегчением вспомнил, что еще не запломбировал деньги, словно этот маленький кусок свинца, как пуля, решал, жить ему или не жить.

Он слегка отодвинул сумку с деньгами в сторону пришельца, словно осторожно указывая направление развития их дальнейшей беседы. Потом он посмотрел на пастуха, но лицо Махаза оставалось непроницаемым.

И вдруг он сразу догадался, что с деньгами здесь ничего не получится. В этом лице нет щели, куда можно было бы просунуть деньги, нет слуха в этих ушах, способного радоваться колдовскому шелесту этих бумажек.

Все-таки он преодолел это дурное предчувствие и сказал, взглянув на сумку с деньгами:

— Может деньги нужны... Мало ли что... По хозяйству...

Пастух обратил внимание на его слова не больше, чем если бы Шалико почесался. Переждав несколько секунд, он снова спросил с терпеливым упорством:

— Разве она тебе не говорила?

Если бы Шалико имел дело с человеком, подобным тем людям, с которыми он обычно имел дело, он стал бы выкручиваться, требовать доказательства и, в конце концов, выкрутил-

ся бы. Но он понимал, что перед ним совсем другой человек и здесь эта мелкая ложь может только ухудшить его положение.

— Когда-то говорила, — вздохнул он, — так ведь я ненасильно...

— Если ребенку, скажем, протянуть отравленную конфету, это тоже ненасильно, не правда ли? — спросил Махаз. Было видно, что пастух хорошо обдумал, что говорить.

— Виноват, — сказал Шалико, опуская голову и в самом деле чувствуя вину и сознательно доигрывая это чувство, потому что по его ощущениям теперь только такой путь мог отвести от него кару этого дикаря.

— Ха! — хмыкнул пастух и, не глядя, потянулся рукой за ножом, вытащил его из футляра и ткнул острием в сторону неба, — это ты ему скажешь...

— Как? — спросил Шалико, цепенея и не веря своим глазам, — ты хочешь взять мою кровь?!

— Не взять, а выпить поклялся я, — поправил его пастух, ссылаясь на клятву, как на документ, который никак нельзя перетолковывать.

Сейчас он смотрел на Шалико без всякой вражды, и это сильнее всего ужаснуло Шалико. Так крестьянин без всякой вражды смотрит на овцу, предназначенную для заклания.

Шалико почувствовал, что внутри у него все немеет от страха, хотя он не был трусом. Мускулы отказывались подчиняться. Он скосил глаза на тяжелые щипцы для пломбирования, подумал, что можно было бы кинуть их в него или ударить его ими, но это была вялая, пустотелая мысль, он знал, что сейчас не способен сопротивляться.

В десяти шагах от места, где они сейчас стояли, проходила улица, и было слышно, как вверх и вниз по этой улице пробегают машины. И каждое мгновенье, когда слышался звук приближающейся машины, душа Шалико замирала со смутной надеждой, словно машина должна была остановиться перед его магазином, словно оттуда должны были выйти люди и спасти его от этого страшного человека.

Но каждый раз машина пробегала мимо, и душа его с

беззвучными криком отчаянья кидалась за ней, отставала, возвращалась сюда, чтобы снова прислушиваться к голосам людей, проходящих мимо магазина по тротуару, к шуму новых приближающихся машин.

Странно, что на людей, проходящих мимо магазина, он почти не возлагал никаких надежд, а возлагал надежды на машину, которая вдруг остановится возле его магазина, и тогда случится такое, что этот пастух не посмеет его тронуть. С мистической бессознательностью надежда его тянулась к машине, к технике, то есть к тому, что дальше всего стоит от этого пастуха и самим своим существованием уничтожает его древние верования, его дикие понятия и предрассудки.

Мгновеньями ему хотелось изо всех сил крикнуть, забросать пастуха бутылками из ящиков, стоящих позади него, но какой-то мелкий здравый смысл подсказывал ему, что если он начнет шуметь, он раньше погибнет. Все-таки у него еще теплилась надежда, что пастух его пугает, но убивать не будет.

— Выйди из-за стола, — сказал пастух.

— Зачем? — спросил Шалико, едва ворочая во рту одеревеневшим языком.

— Так надо, — сказал пастух и, чувствуя, что парень этот стал плохо соображать, подошел к нему и, слегка подталкивая его, подвел к раковине. Не может быть, не может быть, думал Шалико, вот сейчас даст мне по шее и отпустит.

— Нагнись, — приказал пастух, и Шалико покорно согнулся над раковиной, словно собирался мыть голову.

В то же мгновение он почувствовал, что пастух налег на него сзади всем своим телом и с такой силой надавил на него, что ему показалось — вот-вот край раковины врежется в живот. Он чувствовал неимоверную боль в продавленном краем раковины животе, но из этой боли в сознание выпрыгивала радостная мысль, что раз пастух делает ему так больно, он его убивать не будет. И когда пастух, схватив его за чуб, со страшной силой откинул его голову назад и еще сильнее придавил его тело, снова из боли выпрыгнула радостная догадка, что раз ему делает так больно, он его не будет убивать.

В первое мгновенье, когда Махаз полоснул его ножом по горлу, он не почувствовал боли, потому что та боль, которую он испытывал, была сильней. Он только успел удивиться, что вода в кране булькает и хлещет, хотя пастух вроде крана не открывал. Больше он ничего не чувствовал, хотя тело его еще несколько минут продолжало жить.

Махаз изо всей силы прижимал его к раковине, потому что знал: всякая живая тварь, как бы не оцепенела от страха перед смертью, в последний миг делает невероятные усилия, чтобы выскочить из нее. В эти мгновенья даже козленок находит в себе такие силы, что и взрослый мужчина должен напрячь все свои мышцы, чтобы удерживать его.

Когда кровь, хлеставшая из перерезанного горла, почти перестала идти, он бросил нож в раковину и осторожно, чтобы не запачкать карман, полез в него и достал из него стопку. Продолжая левой рукой придерживать труп Шалико за волосы, он подставил стопку под струйку крови, как под соломинку самогонного аппарата.

Набрав с полстопки, он поднес ее к губам и, отдунув соринки, попавшие туда из кармана, где лежала стопка, осторожно вытянул пару глотков. Он поставил стопку в раковину и, дождавшись, когда кровь совсем перестала идти из горла, осторожно переложил труп на пол.

Он вернулся к раковине и пустил сильную струю воды, и раковина заполнилась розовой, пенящейся смесью крови и воды, и постепенно в этой смеси воды становилось все больше и больше, она светлела и, наконец, сделалась совершенно прозрачной, и стопка сверкала промытым стеклом, и нож был чист без единого пятнышка.

Он закрыл воду, вложил нож в футляр, а стопку вбросил в карман. Он оглядел помещение склада и увидел висевший на стене старый плащ. Он снял его со стены и укрыл мертвеца плащом. Он заметил, что плащ на Шалико велик, значит, не его, подумал он, кого-нибудь из работников магазина. На самом деле этот плащ принадлежал бывшему заведующему. Он его здесь забыл, когда прямо после ревизии под стражей

выходил из магазина.

Прикрывая его плащом, Махаз замешкался, залюбовавшись его лицом, сейчас спокойным, красивым, собственной кровью очищенным от скверны собственной жизни.

Он подумал, что если бы все было по-человечески, не отказался бы от такого зятя, несмотря на его малый рост. Да, не отказался бы, даже счел бы за честь. Но теперь об этом не стоило думать.

Он огляделся в поисках замка и нашел его висящим на стене возле дверей. Он еще раз огляделся, обшарил глазами стол, но нигде не увидел ключа от замка. Он подумал, что ключ может быть в кармане Шалико. Но ему не хотелось шарить по карманам мертвеца. В этом по его разумению было что-то нечистоплотное. Взяв в руки замок, он вышел из магазина, прикрыл дверь и, навесив на нее замок, так повернул его, чтобы снаружи казалось, что он заперт.

Он вышел на улицу и огляделся. С наружной стороны магазина двое бродяжьего вида людей, разложив на прилавке нехитрую снедь, пили водку, закусывая копченой ставридкой и хлебом. Судя по всему, они никуда не торопились.

Ему не понравилось, что здесь у незакрытого магазина он оставляет двух подозрительных людей. Они могли зайти в магазин и обворовать его. Кроме того, он подумал, что они могут осквернить труп, роясь в его карманах и как попало передвигая его. Пожалуй, это его беспокоило больше, чем возможность ограбления магазина.

Он заспешил поскорее отдаться в руки властям, чтобы они приехали сюда и, запечатав магазин, отвезли бы труп родственникам.

Милиционера нигде не было видно, но он знал, что в городе полным-полно милиционеров. Но ему сейчас почему-то не попадался ни один. Он вспомнил, что видел милиционера у входа в городской ботанический сад.

Он поспешил туда. Он чувствовал, что с каждым шагом в ногах у него прибавляется легкости, а голова начинает звенеть, как будто он хватил стопку первача. Неужто от челове-

ческой крови можно опьянеть, подумал он. Нет, поправил он себя, это сказывается, что я выполнил свой долг, и господь облегчил мне душу. Ему тоже, подумал он, теперь господь отпустил грехи, и душа его, может быть, спешит в родную деревню, чувствуя, что она очистилась. В таком случае, подумал он, душа его скоро будет на месте. Шалико родом был из Эшер, совсем близко от города.

Завернув за угол, Мазах увидел идущего ему навстречу милиционера. По обличью он понял, что милиционер русский. Ему бы больше всего подошел абхазский милиционер или, если уж абхазского нет, мингрельский. Но выбирать не приходилось, и он напряг голову, чтобы она правильно подносила к языку русские слова.

Легкой и, как показалось милиционеру, гарцующей походкой он подошел к нему.

— Моя резала амагазин ахозяин, — сообщил он ему.

Милиционер решил, что к нему подошел подвыпивший крестьянин. Он кончил дежурство и шел домой, и ему совершенно неохота было с ним связываться.

— Езжай домой, — сурово ответил ему милиционер и пошел дальше. Махаз остановился, удивленный равнодушием милиционера. Он постоял немного и снова догнал его.

— Моя резала амагазин ахозяин! — крикнул он ему требовательно.

— Будешь буянить, — арестую, — вразумительно сказал милиционер и помахал пальцем возле его носа.

— Да, да, арестуй! — радостно подтвердил пастух. Это важное слово он никак не мог вспомнить, а тут милиционер сам его подсказал.

— Ты убил человека? — спросил милиционер заинтересованно.

— Убил, — сокрушенно подтвердил пастух. Он это сказал сокрушенно, не потому что чувствовал раскаянье, а потому что хотел показать милиционеру, что правильно понимает печальное значение этого слова.

— ...Горло резал: хрр, хрр, — так же сокрушенно доба-

вил он, — амагазин ахозяин...

— За что? — спросил милиционер, начиная что-то понимать и замечая кончик футляра от ножа, торчавший у него сбоку из-под ватника.

— Плохой дело делал, — старательно разъяснил Махаз, — моя клятва давал: кто плохой дело делает — моя кровь пьет. Моя пил кровь амагазин ахозяин.

Махаз вынул стопку из кармана и показал милиционеру, чтобы тот окончательно убедился в правдивости его слов. Но милиционер, почти поверивший ему, увидев стопку, снова усомнился в его трезвости.

— Езжай домой, — сказал он ему, — садись в автобус и езжай...

— Езжай — нельзя! — крикнул раздраженный пастух. Он столько усилий употребил, чтобы донести до сознания милиционера суть своего дела и вот теперь оказывается, что они возвратились к тому, с чего он начинал.

— ...Чада! Чада! (Осел! Осел!) — добавил он по-абхазски для облегчения души и снова перешел на русский, — моя резала амагазин ахозяин... Клянусь господом, этот осел заставит меня совершить преступление, — добавил он по-абхазски, страшно утомленный непонятливостью милиционера.

Он подумал, что сказанное милиционеру было сказано ему с такой предельной ясностью, что не понять его было невозможно. До чего же неясен русский язык, подумал он, абхазец понял бы его с полуслова.

— Ладно, пошли, — сказал милиционер и повернул назад в сторону городской милиции. Легким шагом ступал рядом с ним пастух. Если он и в самом деле убил человека, думал милиционер, меня отметят как проявившего бдительность.

Махаз, почувствовав, что с ним распорядились верно и теперь его арестуют, стал проявлять беспокойство по поводу тела убитого.

— Амагазин ахозяин мертвая, — сказал он после некоторой паузы.

— Ты убил? — спросил милиционер.

— Моя убил, — подтвердил он как бы мимоходом, чтобы милиционер не останавливал внимание на этом выясненном вопросе, — мертвая ночью крыс кушайт — нехорошо. Людям стыдно — нехорошо. Скажи домой: — Возьми мертвая амагазин ахозяин. Ночь — нельзя: крыс портит...

— Сейчас все выясним, — сказал милиционер. Они уже входили во двор милиции.

Милиционер ввел его в помещение и сдал дежурному лейтенанту, объяснив ему все, что он понял из рассказа пастуха. Дежурный лейтенант вызвал абхазского милиционера, и пастух рассказал ему все как было, объяснив, что он мстит за дочерей. Почему его дочки нуждаются в мести, он не стал объяснить, но милиционер и так догадался, в чем дело.

Через пятнадцать минут милицейская машина подъехала к указанному магазину, открыла его и убедилась, что все сказанное пастухом правда. Махаза обыскали и при обыске отобрали стопку и пояс с пастушеским ножом в футляре.

— Мертвого отправили домой? — спросил Махаз, увидев абхазского милиционера.

— За него не беспокойся, все в порядке, — отвечал ему абхазский милиционер, чтобы успокоить его. Он не стал ему объяснять, что еще немало формальностей предстоит сделать, прежде чем труп можно будет отдать родственникам.

Милиционер, приведший сюда пастуха, убедившись, что он в самом деле совершил преступление, жалел, что сразу не сказал лейтенанту, что он сам задержал преступника. Теперь ему казалось, что вид этого крестьянина ему сразу же показался подозрительным и он хотел его задержать, но тот сам подошел к нему.

Махаза ввели в камеру предварительного заключения и закрыли за ним дверь. Он сразу же улегся на нару и, прикрыв лицо своей войлочной шапкой, стал думать.

Вот я, наконец, исполнил свой долг, думал он, освободил свою душу, отомстив за обеих дочерей. Он подумал, что теперь, исполнив свой самый высший мужской долг, он

доказал, что имеет право на сына. Жаль, что теперь жены долго не будет под рукой, чтобы проверить, насколько он прав. Он подумал, что если его не убьют и он не слишком постареет в тюрьме для этих дел, то он сможет иметь сына и через десять и через пятнадцать лет, смотря, сколько ему дадут.

То, что жена его Маша для этих дел не постареет, он был уверен. Он был уверен, что жена его сама, добровольно для этих дел никогда не постареет. Но он не беспокоился о ее чести. Он знал, что теперь он так защитил честь своих дочерей и собственную честь, что теперь их ничто не запачкает. Тем более, если его убьют. Он знал, что если суд решит, что его надо убить и его убьют, то для чести дочерей это будет еще одной водой, которая отмоет их честь на всю жизнь, как бы долго они ни жили.

Он заснул и ему приснилась далекая молодость, кенгурийский порт, где он дожидался прибытия из Новороссийска большого парохода, держа за поводья двух лошадей.

И было множество праздничных людей, махавших платками с пристани, и было множество праздничных людей, махавших платками с медленно пристававшего к пристани парохода.

И юная женщина, которую он никогда не видел, подбежала к нему, ослепив его светлым лицом и сияющей улыбкой, и он ее подсаживал на лошадь, и обнажилось колено круглое и нежное, как щека ребенка, и он, не удержавшись, поцеловал это колено, и женщина сверху, с лошади, трепанув его по волосам, сказала ему самое сладкое, что он слышал от женщины и вообще на этом свете:

— Ах ты, дурачок!

И он был счастлив во сне и во сне же пронзительно печалился, зная, что это сон, а сон рано или поздно должен окончиться.

Александр Шеф

ФИГУРОНЧИК

Помпеев работал в НИИ и был там инспектором по выпуску. Он занимал свою должность в бригаде инспекторов, и к нему приносили на просмотр всякие папки и документы. Папки и чертежи шли на выход, а Помпеев давал им санкцию. Работал он хорошо, и несколько раз уже висел на Доске Почета. Так как все люди, составляющие трудовой коллектив, наряду с одинаковой профессией, которая их объединяет, имеют оригинальные мелочи, которые их отличают, то и у Помпеева в его обращении и в манере работать можно было заметить что-то свое, личное, индивидуальное, что постепенно сказывалось, производило впечатление, про которое начальник бригады, т.е. главный инспектор говорил "размягчаться" или "не вовремя размягчаться" (а иногда даже, правда, в отсутствие Помпеева, он говорил "размягчаться в рабочее время").

Это выражение "размягчаться" скоро стало крылатым, хотя оно, наверное, не совсем точно выражало суть дела, и сам Помпеев, когда слышал его, с одной стороны, улыбался, потому что ему было приятно, как всякому смертному, что, вот, он находится сейчас в центре внимания, а с другой стороны, довольно-таки выразительно морщился и даже, как лошадь, тряс головой, потому что, видимо, чем-то был здесь недоволен. Хотя, имея шестилетний производственный стаж, Помпеев, пожалуй, прекрасно понимал, что раз слово пристало, то оно не отстанет. А дело было все в том, что он любил поговорить *сладко.* И не только любил, но и умел. Даже нельзя было сказать про него, что он дилетант, потому что в конце концов, он достиг здесь каких-то вершин, как в искусстве, и слава о нем пошла по всему институту... Что значит говорить *сладко?*

Можно часто видеть, как молодая мать, подбрасывая своего мальчика в воздух, чтобы доставить ему удовольствие, говорит при этом над ним какое-то непонятное слово: "Агусеньки, агусеньки". Не менее часто можно, наверное, видеть,

как другая мать, шлепая свою дочку по попке, говорит ей в избытке чувств другое не более понятное слово: "Кокошеньки, ах ты непослушная, кокошеньки моя..." и т. д. Примерно так, если проводить внешнюю аналогию, выглядела деловая и личная (т.е. производственная, общественная и — конфиденциальная) речь Помпеева, когда он увлекался. Помпееву было, по паспорту, всего только тридцать лет. Другие анкетные данные: инженер, не женат, детей не имеет. Главный инспектор, в отсутствие Помпеева, удивлялся иногда вслух перед бригадой, откуда в молодом человеке такая странная склонность. Инспектора, податливые перед начальством, высказывали в ответ свои предположения. Предположения были самые скромные, потому что кроме внешней словесной оболочки имели внутренние скрытые цели: а) выставить себя в выгодном свете, б) не сказать плохое про товарища, в) вообще не сказать слишком много, г) просто понравиться, — и потому, обычно, не шли дальше того, что Помпеев: а) родился в сорочке, б) мать хотела девочку, в) бабка стукнула по мягкому месту и г) он не должен быть инспектором. Главный инспектор ухмылялся как кошка, которой чешут гребешком за ушами, а Помпеев, сев на свое место, говорил по-прежнему: он говорил, скажем, не "скрепка", а "скрепочка", не "дырокол", а "дырокольчик", не "пресс-папье", а "прессушечка", не "штемпель", а "штемпелечечек", и, наконец, не "подпись", а "фигурончик". Словарный запас его было мобилен, богат и, в пределах реальных нужд, практически неограничен, потому что слова его сами порождали другие слова, как, скажем, какая-то там птица-феникс или семиголовая дура-гидра, если коснуться здесь мифологии, или же как современная электронная самопечатающая кибернетическая машина с обратной связью, которая, начав что-то делать, будет потом делать все, что она хочет, — если говорить языком техническим, т.е. все-таки более близким Помпееву. Словам, чтобы народиться, надо было просто стать более сладкими, что достигалось, в конечном итоге, их грамматической воспеваемостью, также как, например, у матери с дочкой из "коко" от большой любви рождалось "ко-

кошка", из "кокоши" — "кокосик", а потом "коконьшик", "кокулик", "кокультик" и т. д., и т. д. Самому же Помпееву, чтобы помочь словам при таких рождениях, надо было, очевидно, изыскивать в себе с каждым новым словом все больше сладости, что он и делал. Потому что, наверное, главный инспектор, приводя здесь далекую ассоциацию с выполнением плана, говорил вдруг ни с того, ни с сего свои просто "размягчаться" или "размягчаться в рабочее время", а инспекторатоварищи, собираясь в кружок, чтобы через каждые два часа покурить возле открытой форточки, не менее ласково изрекали друг перед другом "жук" или 'псих", или, в конце концов, что-то более поэтическое — "баба в штанах". Помпеев от таких мимолетных суждений, даже если и слышал их, конечно же,никак не менялся.

Труднее всего ему было, пожалуй, с сотрудницами. Сотрудницы были женщины и, естественно, как более слабый пол, остро реагировали на все красивое, заботливое и ласковое, что выражалось в словах, хотя бы и чисто внешних. Принося к Помпееву документы, чтобы он их визировал, они с ним общались. Сотрудницы-новички, впервые столкнувшись с помпеевской манерой, молчали, бледнели, краснели перед ним, переходя через все стадии оттенков поочередно то в жар, то в холод, и, очевидно, многие, по своей женской неопытности (т.е. особенно — молодые девушки), принимали все, что они слышали, на свой собственный счет. Т.к. это, конечно, была с их стороны уже крайность, то все, что бы они здесь ни думали и ни начинали думать, с течением времени никогда не оправдывалось и, вслед за первым волнением, наступало разочарование. В отделах женщины говорили между собой про Помпеева, что он "гусь". Самые молоденькие обычно молча слушали и молча краснели, не говоря вообще ничего. Секретарши-интеллигентки называли его Тартюфом или Иудушкой. Со смехом обычно, изо дня в день, или, точнее, от случая к случаю рассказывался один закоренелый анекдот: как Помпеев, расписываясь однажды для Марьи Петровны, сказал ей вполголоса "а вот я поставлю вам здесь свой фигурончик", на что Марья

Петровна сразу отпрыгнула в сторону, ожидая, что он шлепнет ее по спине (как она говорила потом, "по фигуре"), и опрокинула в их комнате фикус, который и вовсе потом засох, а Марья Петровна, еще не зная тогда хорошенько, кто такой Помпеев, перед одними потом оправдывалась, другим говорила, что Помпеев "нахал", а третьим (хотя, может быть, она просто хотела сбить с толку общественное мнение) говорила, что он ей "объяснился в любви, а потом изменил". Это, конечно, в самом деле был анекдот, потому что Помпеев, наверное никому не мог изменить, потому что еще никого не любил.

Неизвестно, действительно, почему он был такой. Может быть, верно, в один прекрасный день случилось с ним что-то такое "вдруг", и он сразу стал "сладким" Помпеевым, Помпеевым "размягченным" и "размягчающимся": скажем, в школе или в институте на третьем курсе? Или же он доходил до своих "вершин" постепенно: сначала одна любезность, потом другая любезность, потом третья ультра-любезность, а там и пошло, и пошло через край? Приложила ли здесь свою руку школа, ее воспитатели или просто родители? Может быть, Помпееву в свое время неосторожно была поручена общественная выборная должность, т.е., к примеру, деньги или какая-то власть, которая и свернула ему потом мозги набекрень? Как бы то ни было, смех — смехом, улыбки — улыбками, а оригинальность Помпеева, он знал это на собственном опыте, надо признаться, ему часто мешала.

В обществе не любят чудаков, какими бы они ни были: розовыми, скажем, или, в противоположность розовым, синими, или в полоску. Если вы чудак, то вы уже под подозрением или кандидат на подозрение: а достаточно у вас технической грамотности? Отдел кадров, производя ежегодную переаттестацию, решает просто: годен — не годен, и, чуть что, если подошло, скажем, время на сокращения, того же самого чудака первым подводят под сокращение (а может подойти, скажем, время на увольнения за прогулы или за несоблюдение технической дисциплины...). Конечно, и здесь, как всегда, начальство может замолвить свое вездесущее слово. Но кто же будет

всерьез о вас беспокоиться, если вы чудак? Тем более, скажем, такой необычный чудак в полоску? Скажите спасибо, что вам, намытарив, дадут возможность уйти по собственному желанию...

Манеры Помпеева в первую минуту, конечно, притягивали, во вторую ставили все на попа, в третью отталкивали, а потом, наконец, более умные люди отходили в сторону и, сделав свое дело, молча начинали думать о смысле жизни, а люди менее умные, увидев в Помпееве свою заковыку, надолго впадали в какое-нибудь заблуждение, выбираясь из него (или не выбираясь, это смотря по обстоятельствам) каждый уже по мере своих собственных сил. Про Помпеева думали, что он подхалим, бюрократ, эгоист. К чести главного инспектора, надо сказать, что он про Помпеева так не думал. Именно благодаря ему Помпеев смог в этой бригаде спокойно работать и, можно сказать, даже держался за место. Главный инспектор видел, что Помпеев, скорее всего, несчастный молодой человек: даже не эгоист, вернее, эгоист в современных разумных пределах. Он подозревал, не высказываясь однако об этом вслух, что "размягчение" Помпеева такая же, скажем, болезнь, как хронический аппендицит или, например, заикание, или размягчение мозга. Наверно, ее можно лечить. Но кто возьмется за это тонкое, деликатное дело? Кто будет лечить? Главный инспектор сам сначала было попробовал, но потом, как человек пожилой и спокойный, отрекся или даже, скорее, зарекся. Отчасти он боялся здесь за себя, а отчасти — за молодого человека: вот ведь и говорят, что люди себя не жалеют, а все-таки, оказывается, иногда жалеют. Само поведение Помпеева давало иногда главному инспектору поводы думать, что Помпеев борется с этим, с своим... С одной стороны, Помпеев красовался иногда своими словами, как другой молодой человек своей бородой, зная, что все на него смотрят, может быть, даже смеются и, уж конечно, завидуют, но он-то смотрит на всех равнодушно. С другой стороны, Помпеев, говоря сладко, часто вдруг замолкал и краснел. Наверное, здесь были замешаны не одни физические причины: недомогание там, перена-

пряжение или что-то еще. Главный инспектор, не зная, чем это все кончится, хотя и берег Помпеева больше других, время от времени особо использовал его на работе. Дружба дружбой, как говорится, а служба — врозь.

Так как бригада инспекторов имела дело также с поставщиками и, реже, с заказчиками, то именно здесь главный инспектор "выпускал" (младшие инспектора говорили "натравливал") на приходивших к ним посетителей Помпеева с его "не будете ли вы столь любезны", "присядьте вот здесь, пожалуйста, рядом со мной на стульчике" и с его "фигурончиком". Менее проницательнее гости часто бывали обворожены, более податливые — просто загипнотизированы. Люди, естественно, впадали в ответный тон, и невольно подлаживаясь в своих словах, чтобы говорить так, как говорил Помпеев, развивали свою врожденную вежливость, но теряли при этом, пожалуй, свою бдительность производственника. Помпеев от этого, видимо, больше мучился, и в этом главный инспектор видел подтверждение своей идеи, что Помпееву, наверное, говорить *сладко вовсе не сладко,* и говорит он так не по своей доброй воле. В отделе к Помпееву все привыкли и давно разговаривали с ним простым языком, да и есть ли на работе вообще время различать любые чудачества. Гости же были все-таки гости. Во-первых, они хотели понравиться хозяевам,во-вторых, чего-то от них для себя добиться. Гости сюсюкали, как Помпеев, и даже больше, говоря "стульчичек" там, где он говорил просто "стульчик", и даже "автоперышко" там, где он просто говорил "авторучка", и Помпеев, мучительно морщась, был вынужден такие ответы терпеть, в то время как другие инспекторы, хихикая, ехидно вокруг переглядывались и между собой улыбались. Если человек хромой, то он не хочет, чтобы все люди были хромыми. То же самое относится, конечно, и к заикам и прочим душевным больным. Аудиенции Помпеева превращались для него в сильные нервные потрясения. Он, обычно, всегда добивался от гостей того, что было нужно НИИ или главному инспектору. Гости, обычно, сидели потом вконец "размягченные" и ставили, доволь-

ные, на важной бумаге свой "фигурончик". Помпеев, весь красный, вытирал потом пот со своего лица и думал, наверное, что надо, пора уже давно от этой работы ему отказаться. Но он редко отказывался даже от этих особых аудиенций, потому что, видимо, держался за место. Хотя, и главный инспектор его тоже жалел. Кроме просто "нервов" здесь вмешивались особые "размягченные" нервы Помпеева, и потому Помпееву вдвойне было трудно.

Только один раз он почувствовал, как ему легко, и даже не просто легко, не равнодушно легко, как это бывало всегда на работе, а как хорошо, как по-особенному, почти возвышенно легко может ему быть в разговоре, тем более в разговоре по делу, тем более в такой всегда прежде тягостной обычно аудиенции. Это был разговор с женщиной, потому что представитель поставщиков на этот раз была женщина, и хотя так бывало прежде не раз и не было здесь ничего удивительного: женщина-поставщик — не только Помпеев, но и все НИИ вскоре знало, что это необыкновенная женщина, а Помпееву только, может быть, больше других повезло, и он смог ее влияние ощутить на себе, потому что, во-первых, он сам был чем-то все-таки необыкновенный, а во-вторых, именно с ней вел сейчас дело, и, наконец, после большой переписки и разговоров по телефону, именно к нему она пришла на эту аудиенцию.

Все говорили, что она вдова. Что она, будто бы, похоронила мужа, который где-то в тропиках заболел лихорадкой, и она потом летала к нему на могилу. Все говорили, как про что-то само собой разумеющееся, что она знающий деловой инженер. Сам начальник техотдела, сухарь и скряга, здоровался с ней неловко, потому что не умел иначе, раскланиваясь в коридорах. Но это все было, конечно, не главное, а, главное, надо было ее видеть, и главное было ее лицо. Если есть красота в лице девушки, которое, только недавно сложившись, светит румянцем на все стороны и сверканием своих глаз может, в конце концов, так ослепить любого мужчину, что уже он не видит потом ничего, кроме одного этого сверкания, и все-таки, ничего больше не видя, знает, что это все красота и что по мо-

лодости еще живет красота так бурно, что льется перед ним без удержу через край, — то, конечно, насколько больше красоты для людей, способных глядеть и видеть, должно быть в лице женщины, которое, может быть, от пройденных ей лет стало тверже, и в нем сейчас ничего не слепит, не сверкает, но видно зато все в этом лице, что она прожила и пережила, и видно даже, как она прожила, видно, пожалуй, до слез, так что нельзя, взглянув хотя раз в лицо такой женщине, не остановиться и не подумать сначала о ней, потом о себе, может быть, даже со счастьем или, скорее, с тоской, и думать все дальше, до тех пор, пока не додумаешься, наконец, до простого старинного слова, которое и сейчас можно иногда говорить: душа — просто душа или большая душа.

Как с ребенком говорил с ней Помпеев, посадив ее рядом с собой на "стульчичек" и прося ее, время от времени, поставить в разных местах в документы свой "фигурончик", как малому ребенку ей все объясняя и очень бережно пытаясь быть возможно простым. Но так и не сумел он все-таки преодолеть себя до конца и хотя бы перед ней остановиться в своей тусклой любезности. Как малого ребенка слушала она его, изредка кивая кивком головы, и не говорила в ответ тех подсахаренных слов, которые, пустые, при таких разговорах у других появлялись как бы сами собой, вздуваясь как мыльные пузыри, и всегда так раздражали Помпеева. Он смотрел сейчас на женщину и, зная, что она вдова, уже любил ее и сейчас на глазах влюблялся все больше. Главный инспектор сидел, как старая птица: нахохлившись, руки в брюки. Он пододвинул к ним свое ухо и слушал весь разговор, но ничего не вставлял, не пытался как-то подправить своего подчиненного, а задумавшиеся глаза его показывали, что он думает сейчас о себе. Младшие инспектора по-прежнему переглядывались вокруг, но они не смели сейчас улыбаться, и ничего не смели нарушить, и даже самый ехидный из них молчал, думая невольно в уме: "вот привалило дураку счастье". А дело было все в том, что в служебные разговоры на их глазах вкралась личная нота, и женщина, как все они поняли, одни попозже, а другие

пораньше, тоже, говоря с Помпеевым, уже любила его и в разговоре влюблялась все больше. Неизвестно, что привлекло ее здесь к нему. Любезность обращения, конечно, нравится женщинам, но не настолько, чтобы она значила для них все. Может быть, ее смутили с первого раза усилия, которые он, краснея, делал, чтобы говорить с ней попроще. Может быть, ее вначале чуть-чуть рассмешил, а потом привлек тот архаический стиль, который возник у Помпеева от этих усилий. Может быть, ей кто-то что-то шепнул, или, смеясь, что-то там рассказал. Во всяком случае, она была, конечно, женщина умная, и просто любезность не могла ее серьезно увлечь. Она стала помогать Помпееву в разговоре. Может быть, и это ей тоже понравилось. Неизвестно, были ли у нее дети. Помпеев говорил с ней почти как с ребенком, а между тем сам был смешон, как ребенок. Женщина смеялась рядом с ним, а потом занималась с бумагами, а потом, поглядела на Помпеева. Помпеев чувствовал, какой смех ее добрый. Все инспектора сидели молча, как старые птицы, а Помпеев говорил с ней один, и она, наверное, уже знала сама, что любит его. Да, Помпеев говорил смешно и сам был, конечно, смешон, но разве умная вдова, поглядев на него хотя бы раз с любовью, не может заметить в смешном инспекторе чего-то другого? Неизвестно, конечно, точно, что замечают женщины в таких случаях, но в определенный момент, вглядевшись, они всегда замечают то, что им нужно...

По НИИ пошли слухи, что "фигурончик" влюбился. Сам главный инспектор, будто бы, дал согласие быть тамадой, т.е. главою стола у него на свадьбе. Фигурончик женится! Весть моментально облетела все службы, цеха и отделы, и женщины, переглядываясь, замужние и незамужние, молодые и "в возрасте", в обед, в коридорах и стоя за своим рабочим местом, стали вспоминать про Помпеева: с улыбкой, с печалью, с оглядкой, с восторгом, наконец, равнодушно, и, наконец, с удивлением: "как, он все же не гусь?!" Именно в этот момент всевозможных слухов, предчувствий, довольно большой неясности и ожиданий в помпеевскую историю трагическим образом вошел капитан Кумач.

Капитан Кумач, попросту говоря, был донжуан. Есть такая порода людей, у которых избыток физических сил, как у животных, превалирует во всем, что бы они ни делали, и потому всех подавляя своей активностью, они, кажется, даже самим себе вообще не оставляют времени на "прочие" размышления. Такие люди, обычно, делают карьеру. Она может быть честной или нечестной, или в меру честной и в меру нечестной. Сам капитан явился в НИИ как толкач и, таким образом, был принят там как представитель заказчика. Он был скор на слова и, тем более, на руку. Зная как к кому подойти, а с какой стороны можно легче подъехать, капитан имел определенный служебный успех. Не раз доводил он Помпеева своими льстивыми вежливостями до чрезвычайной, казалось бы, красноты и вообще до той самой температуры, которую зовут температурой кaления. Помпеев его не терпел. Помпеев думал, что капитан фанфарон. Помпеев, кстати, знал, что капитан обращает внимание на нее, т.е. на женщину, т.е. на вдову, которая теперь, действительно, считалась всеми его невестой. Однажды капитан Кумач не сдержался. Кажется, у него был какой-то праздник и он, заявившись в НИИ, был, как говорится, "в струе". Неизвестно как, какими там правдами или неправдами, а скорей всего, просто обманом, он заманил вдову, когда она зачем-то вышла из проходной, в свою персональную голубую машину, которую сам и водил, и быстро поехал с ней за город. Женщина, даже умная женщина, не правда ли, все-таки, наверное, прежде всего слабая женщина... Это случилось в обед, и к концу дня они снова вернулись. Вахтерша, видя, как все случилось, позвонила Помпееву из проходной. Помпеев, поняв все, рвал и метал. Чем дольше тянулось время, тем больше он краснел, вставая, молчал, снова садился, так что атмосфера в их комнате скоро совсем зарядилась и всякие частные разговоры прекратились вообще: даже самый ехидный инспектор, не рассчитывая теперь на любезность Помпеева, обходил его за версту...

Он встретил ее в коридоре, когда она вышла из лифта, и отвел потом в угол, так что они, разговаривая, там были одни,

и им никто не мешал. Она сказала, что как только они сели в машину, капитан одной рукой схватился за руль, а другой рукой взял ее сразу за грудь.

— А потом? — спросил Помпеев.

А потом они поехали за город и когда, наконец, куда-то приехали, капитан открыл дверцу и сказал ей грубо: выходи.

— А потом?

А потом она сказала что-то еще и еще, а потом, наконец, Помпеев узнал то, чего, все же, не веря себе, с самого начала боялся: она сказала, что капитан ее обесчестил. Она заплакала в этом месте, а Помпеев совсем потерялся.

Своими сюсюкающими словами ("мой птенчик" и "мой дорогунчик"), не зная, правда, как сначала утешить себя, а главное, он видел, чем больше он говорил, что ему становится страшно, потому что даже сейчас она над ним возвышалась, как-то все выше и выше вдруг возвышалась, так что он, казалось, уже почти стоял перед ней на коленях. Он ничего не мог больше здесь сделать своими словами, потому что вообще что-то сделать сейчас могли, наверное, другие слова, если вообще только слова, и вдова, возвышаясь, он видел, от него отдалялась. Можно отдаляться, уходя куда-то во времени и в пространстве, и можно отдаляться, возвышаясь (или унижаясь?) перед человеком, который сейчас еще стоит рядом с тобой и пускай даже любит. Помпеев чувствовал, что с ним сейчас происходит именно такой род отдаления. Он даже не выдержал и тоже заплакал.

С первой минуты он думал, что это, конечно, подсудное дело, но тут, стоя перед вдовой, он понял, что нечего и думать о том, чтобы отдать дело в суд. В это время снова дверь лифта хлопнула, и на площадку, печатая шаг, вступил капитан Кумач. Он пошел мимо них, держа хвост, наверное, гоголем, а вдова, плача, отвернулась побольше, и Помпеев, видя, что он уходит, а если уйдет, то тогда уже все, сказал:

— Стойте, капитан!

Потом он замер, не зная, зачем так сказал и что будет

делать. Капитан остановился и, поглядев, сделал перед ним благодушнейшее лицо.

— А, — сказал он, — приветствую вас в ваших апартаментах, мой генерал, жду не дождусь вашей благосклонной аудиенции, чтобы снова, наконец, сесть рядом с вами на стульчичек и увидеть ваш золотой фигурончик...

И как всегда прежде, когда, слыша любезности в ответ на свои собственные любезности, Помпеев по какой-то непроизвольной реакции отрицания злился, краснел и терял рассудок настолько, что любой простой разговор превращался для него в потрясение, так и сейчас, услыша наигранный комизм капитана, он покраснел и, кажется, все позабыл, что было вокруг, и, только уставившись капитану в лицо, думал о том, как бы посильнее его оскорбить. Он подумал, что сейчас надо бы ударить его, но подумал, что вдова, так же как не хочет выносить это дело на суд, чтобы не было шума, не хочет, чтобы он дрался. Надо было выдумать сейчас такие слова, чтобы они сразили насквозь, и Помпеев, весь трепеща, тянулся как птица, которая, заливаясь руладой, выводит сейчас самый громкий и извилистый верх своей высокой мелодии, хотя, конечно, наружно по нему почти ничего не было видно. Но время шло, и Помпеев, зная, что время идет, и так и не зная, что бы придумать посильнее, вдруг брякнул:

— Вы разжалованы, капитан.

Он сам почувствовал, что сказал все-таки что-то не то, и вдова, наверное, тоже это почувствовала, потому что заплакала вдруг сильнее. Помпеев видел, что ему, наверное, уже не удержать ее и вообще, кажется, перед нею ему уже нечего было больше терять. Только стыд за нее и стыд за себя, что он, — вот так плохо, — почти не отплатил капитану, мучил его не переставая. Он даже попытался как-то поправиться.

— Вы разжалованы, капитан, — сказал он. — Недавно получен приказ...

Капитан захохотал. Только на один какой-то крошечный миг его лицо вдруг испугалось и он, как показалось Помпееву, поверил. Капитан, конечно, если и был трус, то не по

природе, а по выгоде для себя: иногда он боялся, потому что чувствовал, что лишится своей собственной выгоды. Нет, капитан не стал извиняться перед Помпеевым. Он не залебезил и не расшаркался вдруг перед ним по кафельным плиткам своими пружинистыми ногами. Он моментально оправился и все-таки, чтобы убедить себя еще больше, улыбаясь уже совсем спокойно, сказал Помпееву:

— Да нет, что вы, мой дорогой... Ведь это все шутка!

И он ушел, пружинисто поводя ногами, и даже не взглянув на вдову. Капитан удалился, несмотря на то, что Помпеев замер, как бы вцепившись в него своим взглядом, и мысленно представлял сейчас себе, как он срывает с капитана погоны, как он хватает его за лычки и крутит, вертит как куль, рвет ему портупею и снимает ремень, так что капитан, наконец, стоит перед ним, как штрафной солдат — не то в гимнастерке, не то в нижней рубахе — как дезертир. Так наглядно Помпеевым все это было представлено, что он даже не сдержался перед вдовой и крикнул вдруг "э-эк!" или "эх!", как кричат иногда лесорубы, когда колют дрова, или мясники, ударяя своими ножами по туше, которая лежит у них на колоде. Он даже согнулся в свои пол-погибели, глядя, как идет капитан, и вдова, видя это, еще пуще заплакала. Помпеев не смел почему-то взглянуть на нее. Он считал теперь, что он сам был во всем виноват. Он ушел, думая, что так все и должно было бы быть с самого начала: все его мечты, по заслугам, и должны были быть только мечтами. Он ушел, оставив ее такой.

С этих пор, конечно, в НИИ прекратились на время всякие разговоры о свадьбе, а характер Помпеева совсем неожиданно круто переменился. Прежде всего, он стал во всем, что бы ни говорил, элементарно груб. Казалось, что в нем сломана была вдруг какая-то внутренняя замычка, и если раньше, усыпая других любезностями, Помпеев, как справедливо подозревал главный инспектор, все-таки мучился своими любезностями, которые ему, по инерции, говорились в ответ, потому что, естественно, он был недоволен здесь как любой человек, которого неправильно поняли, то теперь не только он сам стал

говорить каким-то несдержанным, разухабистым, псевдонародным (чтобы не сказать, ультранародным) простым языком, но и слушателей своих стал теперь подправлять (говорить им, что надо говорить "стул", а не "стульчик" и не надо вообще говорить всяких глупостей: при чем здесь вообще "фигурончик"?), так что главный инспектор сначала даже подумал, что Помпеев начал лечиться. Правда, он так думал не долго, потому что столь личные мысли, в которых выражалась забота о своем подчиненном, сменились у него мыслями не менее заботливыми, но более личными: он понял, что Помпеев стал плохо работать.

Сколько раз уже важная аудиенция вдруг срывалась и цель ее или совсем не была достигнута, или достигнута вовсе неполностью из-за нового оригинального помпеевского поведения. Сколько раз главный инспектор вдруг вздрагивал, отрываясь от своей срочной работы, когда по комнате, в самый больной момент всеобщего увлечения, собранности и дисциплины разносилось вдруг некое "эк", которое, как каждый раз выяснялось, наподобие кряканья утки, издавал вдруг ни с того, ни с сего все тот же Помпеев, а младший ехидный инспектор, хотя и вполголоса, к тому же варьировал этот возглас по своему: "эк его разобрало", так что все улыбались. Конечно, любое начальство любит полиберальничать и в меру терпимо, а в определенных пределах вообще даже любит своих чудаков и отличает их: скажем, одни предпочитают в полоску, а другие пятнистых, хотя это уже установлено опытом, при всех всевозможных рисунках, в расцветке некоторое сложившееся определенное большинство невольно склоняется к розовому. Иногда начальству даже приятно, что у него всегда под рукой есть свой собственный оригинальный чудак. А вдруг приедет товарищ из главка и устроит грозу: кто будет тогда громоотводом и на кого должны сыпаться шишки? Или, наоборот, тот же товарищ приедет вдруг в самом прекрасном, может быть, даже весеннем настроении: как тут не похвастать и не сказать между прочим, среди ласковых шуток и разных обоюдных добрых любезностей: "а вот, вы знаете, у меня есть такой-то

чудак... вы знаете, он может то-то и то-то..." И товарищ из главка, может быть, даже ухмыльнется довольно (как будто поставили ему за обедом еще одну полную, с пеной, кружку пива, которую он уже и не может выпить, а все-таки приятно, что она здесь стоит) и, снизойдя, даже похлопает, пожалуй, представившегося вдруг перед ним чудака по тому или иному плечу, чем, конечно, проявит еще больше свое расположение и полное удовольствие духа к тому (простому) начальнику, у которого имеется данный чудак. Итак, чудаки, конечно, смотря вообще, это вовсе неплохо, но как и все, что неплохо, чудак, как говорится, будь себе чудаком, а чудачества — в меру. Что, если начальство любит спокойную расцветку в полоску, а чудак вдруг окажется в крапинку, или рябой, или, опять же, пятнистый? Его тогда больше не любят. Терпят его и, в конце концов, он сам начинает терпеть. Помпеев, как было сказано выше, пытался держаться за место. Но когда переменился он сам, к нему, как будто передвинули регулятор тока, тоже все вокруг переменилось. Он срывался на дерзости, и в ответ ему тоже сыпались дерзости. Он выходил иногда на сладостные, высокопарные дерзости, которые возвышенно кружат голову тому, кто их говорит, — и в ответ получал выговор с занесением в личное дело. Он совершал теперь свои странности как в рабочее время, так и вне института, и они, вызывая недоумение, как все, что в толпе непонятно, вместе с недоумением вызывали к нему неприязнь. Один раз он крикнул в лицо главному инспектору при всех: — "Вы разжалованы, капитан", на что тот, почему-то вдруг обернувшись и поглядев себе за спину, отрицательно покачал головой и, хотя, вроде бы ничего не сказал, мог обидеться и, конечно, обиделся. В другой раз Помпеев был пойман, когда пытался перчинным ножом проколоть задний баллон у какой-то машины. На него подали в суд и присудили пятнадцать суток за мелкое хулиганство. Это был уже для предприятия, конечно, позор. Когда Помпеев вышел, так сказать, из тюрьмы, главный инспектор сказал ему, что по ходатайству через две недели он будет уволен. Помпеев внешне выглядел так, как будто внутри ему уже все

ясно. Спустя рукава и будто во сне, работал он эти последние оставшиеся ему дни. Как последние отголоски дел, которые прежде он вел, и которые, чтобы передать другому, надо было бы чуть-чуть закруглить и привести немного в порядок, в самый последний день главный инспектор поручил ему провести еще одну, теперь уже, явно, прощальную аудиенцию. И, конечно, как представитель поставщика, на аудиенцию явилась вдова...

Она не виделась с ним с того самого раза. Он, конечно, как это можно было понять по теперешним его поступкам, не забывал в это время о ней. Она сама не знала, чего теперь хочет, но когда пришла и увидела снова его, то вдруг почему-то смягчилась и первая потихоньку заплакала. Помпеев опять покраснел как ребенок. Он то все больше молчал, то говорил много-много по делу, потом вдруг он попытался сказать ей опять "вы разжалованы..." (наверное, это?), но успел, спохватившись, наполовину сдержаться, и у него получилось какое-то грубое головоногое слово, не то "вырр", не то "выррж", на что тот же самый ехидный инспектор, только услышав, не замедлил сразу съязвить, подмигивая своим затаившим дыхание приятелям: "фыркает тут тебе... фыр, да фыр... фыркает... прямо как кречет..." Сказав так, т.е. чуть-чуть подольстившись, он еще нахальнее поглядел на начальника. Но главный инспектор молчал. "Работайте", — сказал он потом. И все снова стали работать, навостривши, однако, свои любопытные уши.

А вдова, заплакав, спросила Помпеева, по-прежнему ли он ее любит. "Работайте", — сказал им главный инспектор, и Помпеев, чуть-чуть растрогавшись, поставил в разных местах там и сям, как всегда, свой непростой фигурончик, а потом сказал ей, что да, он ее любит. За его спиной кто-то безумно хихикнул. Помпеев не оглянулся, и тишина в комнате, казалось, достигла предела. "Ну что ж", — сказала тогда, плача, вдова, — "Ну что ж, давайте тогда пойдем и поженимся..." Помпеев опять задрожал, и лицо его вроде бы уже просветлело, но тут он, как будто бы что-то вспомнив, опять сказал свое не то "выр", не то "фыр", а потом сказал, что нет, он

сначала еще отомстит. И вдова заплакала больше, услышав это неловкое слово, потому что видела, какой он все-таки странный мужчина и подумав здесь про себя, она вспомнила еще, что опять ее ждет прежнее горе, и подумала, что мужчины всегда как сейчас, так и прежде, были какими-то странными, и еще она подумала, какая же может быть месть в середине двадцатого века, когда есть милиция, радио и телевидение, и модный нейлон, и модерные декольте, и ТУ-104, и вообще, и одежда... Помпеев простился с ней, больше ничего не сказав. Он получил на руки свою трудовую книжку и ушел, и с тех пор в НИИ больше его не видели.

Между тем, слухи о нем продолжали циркулировать в разных местах, заходя время от времени и сюда, т.е. в это НИИ, потому что многие его все-таки помнили, и к тому же, что там не говорят, женское сердце все-таки мягкое сердце. Вдова иногда справлялась по телефону и звонила в проходную или же прямо в отдел кадров, и тогда ей рассказывали все, что за этот период времени про Помпеева стало известно, рассказывали, конечно, с прежним уважением, а может быть, даже с большей любовью, потому что вся ее история уже давно была всем известна, и злые языки, погомонивши сначала, уже успели умолкнуть, так что теперь ее просто жалели, а из того, что она вот так звонила-справлялась, было видно, что и сейчас она Помпеева помнит и ищет, и это, конечно, было всем приятно: в разговоре, даже если новости были плохие, ее старались утешить. Слухи же сами по себе были самые разные, вплоть до диких, крайне нелепых и почти фантастических. Сначала говорили, что Помпеева, будто бы, видели в Москве. Потом — на острове Хиума. Потом в Киеве. А потом вдруг — на ракетном аэродроме. В Москве он, будто бы, пытался проникнуть в здание Министерства Обороны, но его туда не пустили. На аэродроме он сначала подкладывал в истребитель мину замедленного действия, чтобы убить какого-то летчика, а потом сам, будто бы, хотел захватить самолет, чтобы улететь за границу, но его опять не пустили. Потом он на время исчез, и говорили только, что он опять посидел какой-то срок за что-то в тюрьме.

Потом он опять, будто бы, приехал сюда и стал заниматься тем, что шутил с офицерами на улицах, в магазинах и на площадях оригинальные шутки. Шутки же состояли в том, что он хлопал офицера вдруг ни с того, ни с сего по плечу, делая вид, что хочет содрать с него погоны, а потом громко кричал: "вы разжалованы, капитан" (что, кстати, доказывало, что в чинах он вовсе не разбирался, потому что ему было совсем все равно, был перед ним сам генерал или какой-нибудь младший полковник) и потом громко хохотал во все горло. За такие шутки, естественно, ему не раз, наверное, перепадало и, говоря попросту, Помпеева били. Пожалуй, и милиция приложила здесь руку, и было, конечно, самым благоприятным случаем, если все кончалось только лишь штрафом. Во всяком случае, потом (не с большей, конечно, чем прежде, степенью достоверности) стало известно, что Помпеев, будто бы, положен в больницу. Говорили, что у него сломаны руки и ноги, а кто-то говорил, что только руки или только ноги, временами же было известно и то, что Помпеев теперь вообще как труп и самостоятельно вовсе не сможет передвигаться, потому что посередине у него раздроблен весь позвоночник. Дело же, как оказывается, было все в том, что в одну из очередных своих шуток Помпеев наскочил в темноте на офицера-самбиста: офицер был пограничник, знал не только приемы самбо, но еще джиу-джитсу, он приехал на два месяца в отпуск, чтобы жениться, и, после долгой службы в глуши, естественно, не хотел себя дать горожанам в обиду. Вдова, слыша такие слухи, конечно, еще энергичнее искала Помпеева.

Наконец, в один прекрасный день она спустилась к нему на две ступеньки вниз в артель инвалидов, потому что мастерская, где он в это время работал, была просто подвал, и, боясь все-таки увидеть его, разглядела сначала помпеевскую согнутую спину, и так как спина, она поняла, была вся цела, то быстро, и не подавая признаков своего присутствия, она оглядела Помпеева всего целиком, все его руки и ноги, и, наконец, увидела то, почему он был теперь инвалид: забинтованную культю на левой руке. Наверное, и сейчас еще в забинтованном месте

рука болела, а вообще, согнувшись почти под прямым углом, она теперь наполовину засохла и была просто как катет. Другой, здоровой рукой Помпеев регулировал маленький пресс. Пресс каждые две секунды звонко тюкал и выбрасывал на лоток уже совсем готовые защепки для белья. Такими защепками, например, пользуются хозяйки, когда пришпиливают на дворе к веревке белье, чтобы, не дай бог, его не сдул ветер или не украл злой человек, а иногда также их используют в своей работе фотолюбители. Вдова подошла сзади к Помпееву и, как это делают дети, закрыла ему руками глаза.

Еще когда она подходила, он, чувствуя, что сзади кто-то подходит, сказал вдруг сердито не то "фыр", не то "выр", т.е., еще не зная, что это она, облаял ее как собака. — "Боже, — подумала она, — неужели он совсем не изменился? Неужели он попрежнему хочет мстить?" — И действительно, почти со страхом она закрыла ему руками глаза, а он, это почувствовав, вздрогнул, и опять, она заметила, сказал свое "выр" или "фыр". И уже совсем не веря себе, она, как прежде, позвала его: "мой дорогунчик".

Автомат по-прежнему тюкал с периодом в две секунды и изящные цельнометаллические защепки для белья одна за другой, все больше, ложились в лоток, но Помпеев вдруг перестал размешивать в бункере заготовки, а замер, как будто ему отрубило вдруг палец или ударило внезапно электрическим током, а потом вдова почувствовала, что у нее стали мокрые пальцы и, значит, Помпеев, так отвернувшись от нее, действительно, один, плачет. Она, кажется, вытерла ему слезы, и, наверное, что-то сказала, что-нибудь такое, вроде: "ну, вот и все" или "вот все и кончилось", или, может быть, даже: "вот мы и вместе". Автомат все стучал и Помпеев, повернувшись уже к ней лицом, по-прежнему дергался с каждым ударом, и, плача, все-таки говорил свое непонятное: не то "фыр", не то "выр". — Боже, — подумала снова вдова, — неужели это никогда-никогда не кончится?.. — И тут, очевидно, в бункере кончились заготовки, или просто там что-то заело, или высохла смазка, но машина вдруг стала, и Помпеев, вытерев слезы,

посмотрел, наконец, ей в глаза. Он, конечно, теперь обнял ее, и она ему там что-то шептала (она также шептала: "не надо... надо все позабыть... больше не надо..."), и в конце концов, он позабыл, что еще так недавно готовился убить капитана. Прошло полгода, как они не виделись. Помпеев поглядел на себя в зеркало и ему стало стыдно: даже сейчас, в слезах, у него было такое лицо, как будто он очень много боролся. Он подумал, что он был просто глуп, что так много боролся: не надо было так много бороться. Иногда надо было просто вообще ничего не делать, а лучше всего — отдохнуть. Вот, подумал он, она снова пришла к нему и учит его подчиняться, а чтобы подчиняться, надо просто терпеть, т.е., уметь отчуждаться, т.е., быть равнодушным. Машина молчала, и Помпеев, стоя, молчал. Вот сейчас, подумал он, он теперь с ней отдохнет. Вместо прежнего грубого "вы разжалованы" и вытекающего отсюда "фыр-выр", он вдруг погладил вдову по волосам и сказал ей не то "тю-тю", не то "фук-фук", но, в общем, что-то такое любезное, что говорил он еще тогда, прежде, в НИИ на работе полтора года назад и что, кажется, сказал ей в самую первую аудиенцию с ней, приглашая садиться "на стульчик". И вдова, услышав то, что она услышала, снова заплакала. Прежний Помпеев стоял перед ней и все же не прежний. Ласковый, сладкий, размягчающийся и размягченный Помпеев, который любит ее, как и раньше, и потому ради нее все сумеет стерпеть. "Боже, — подумала снова вдова, — боже, как хорошо..." А в чем же Помпеев был все же не прежний? Она оглядела его снова всего и снова увидела белую культю. "Вот, — подумала она, вот в чем он не прежний... Вот как он пострадал..." Она прильнула всем телом к его руке и стала целовать его бинт, потому что сейчас ей это было приятно. Упиваясь собой и своим счастьем, она несколько минут целовала Помпеевы больные руки, и, наконец, так как там действительно все-таки была свежая рана, на белом бинте проступила красная кровь. Вдова целовала и дальше это место, где кровь, потому что, наверное, Помпееву стало уже больно и он в это время терпел, а ей это было приятно, но потом, хотя мимо открытой форточки по небу

шли белые облака, которые ее успокаивали, вдова как-то сжалась и делала то, что она делала почти механически, и он это, кажется, тоже почувствовал. Она думала, как они теперь будут жить, и ей снова вспомнился капитан Кумач.

Они вышли, наконец, вдвоем из подвала, когда кончился рабочий день и Помпееву можно было идти, и пошли, кажется, прямо к ней, держась за руки, как влюбленные, а она еще, время от времени, его целовала, и Помпеев тоже, правда, перед этим оглядываясь, иногда очень ласково с ней обнимался. К несчастью, им в самом деле на каком-то углу встретился вдруг капитан. Кумач за это время, естественно, вырос, и хотя по-прежнему был еще капитан, выглядел сейчас уже так, как будто бы он не капитан, а полковник, т.е., уж, можно сказать, готовился, а когда такие люди готовятся, да еще вдобавок упорствуют, то все, что им нужно, рано или поздно будет готово: карьера капитана уже сейчас подвинулась так, что он перестал вовсе бывать в том НИИ, потому что прошлое представительство было для него уже "низкое" место, т.е., так сказать, пройденный этап, и поэтому, наверное, тем более приятно было для него встречать иногда на улице знакомые лица (ведь приятно иногда почувствовать, скажем, как ты "возвысился"). Увидев вдову с Помпеевым, капитан на минутку присел, потом подошел, поздоровался, что-то сказал, ткнул Помпеева пальцем в бок, сказал вдове комплимент насчет хорошей погоды и про цвет ее глаз. Помпееву же сказал "мой генерал" и, улыбнувшись, вспомнил что-то еще неестественно и до приторности любезное, что говорил ему на аудиенциях еще меньше года назад. Но оба они, он и она, шли, никак не отвечая капитану, и, главное, по-прежнему шли, т.е., не останавливались, и даже между собой перестали вдруг разговаривать, а Помпеев, краснея, стал вдруг что-то нервничать и, бормоча себе тихо под нос, задвигал по сторонам своей больною рукой, так что капитан, следовавший сбоку за ним, на ходу должен был все время припрыгивать и как-то посторониться, а некоторое время шел потом сзади, уже молча и почти наступая вдове на пятки. Наконец, вдруг ни с того, ни с сего, он отстал.

И Помпеев с вдовой, оба сразу, облегченно вздохнули. Но вечер, как это окажется дальше, был все-таки так или иначе испорчен и кончился, как потом это выяснится, просто ужасно.

Пока они шли, вокруг стала постепенно собираться толпа. Толпа была сначала совсем небольшая, веселая, жизнерадостная, с различными цветами, транспарантами и флажками, которые поднимались вверх тут и там, и выяснилось, наконец, что люди приходят сюда встречать иностранного генерала. Уже стояли солдаты цепью вдоль тротуаров, растягивая между собой шелковую веревку, а маленькие девочки, отпущенные мамашами, вдруг осмелев и краснея при всеобщем внимании, вылезали из-под веревки на мостовую, где движение было уже совсем остановлено, а значит, опасности транспорта не было, чтобы мелом написать на асфальте слово PAIX, что значит "мир", сами же мамы и прочие взрослые люди навалились всюду грудью по сторонам и заглядывали через плечи солдат: не видно ли иностранного генерала. Несколько раз по очищенному проспекту проезжала взад и вперед милиция на мотоциклах. Народ уже забирался на балконы, на телефонные будки, на стены, на крыши. Одни кричали "Ура — ура!" Другие — "Да здравствует Генерал". Помпеев, услышав эти слова, опять как-то вздрогнул и левая больная рука его с завязанной культей стала все время подпрыгивать куда-то в сторону, как будто он непроизвольно вскидывал кому-то салют.

Народ, между тем, волновался все больше. Уже развернули принесенные флаги и стали кидать на дорогу цветы. — Едет, едет! — раздались вдруг крики издалека, и те, кто сидел на самом верху, зашевелились, потому им уже все было видно. — Едет, — орали, наконец все вокруг и вдруг стали вставать на носки и всеми возможными способами тянуться куда-то ввысь: только бы увидеть — только бы увидеть — вот — он едет — вот, генерал — ура! — ура, генерал! ура, генерал!.. И все, завидев на проспекте кортеж, закричали как бы единым духом: "Ура, генерал!"

Вдова, увлекшись всеобщим воодушевлением, тоже стала на какую-то тумбу и, пытаясь глядеть поверх голов, вместе со всеми что-то кричала и махала руками. Зрелище, действительно было достойное и чем-то необыкновенное и, наверное, заслуживало того, чтобы на него не только глядели, но и деятельно, по мере сил, принимали в нем живое участие. И вдруг, поглядев вниз вокруг себя, вдова увидела, что Помпеева нет под рукой. Она лихорадочно огляделась и стала сразу искать Помпеева взглядом, и, кажется, вот нашла его: вот, он стоял там между людей. Спрыгнув с тумбы, она быстро побежала к нему.

А Помпеев в это время шел куда-то один и все слушал, как люди кричат "Ура, генерал!" То правая, то левая рука его при этом невольно дергалась, и он, пытаясь себя как-то сдержать, даже взял на какое-то время обе свои руки себе за спину, т.е., взял себя в руки, но потом, не удержавшись так долго, снова все же разнял и вынул оттуда наружу, и тогда, все чаще и чаще, стал вдруг, уже не удерживаясь, помахивать ими по сторонам, пока, наконец, не стукнул легонько одного долговязого парня, который, став на принесенный откуда-то стул, громче всех вопил в это время: "Ура, генерал!" Парень сразу свалился со стула, но так как вдова в этот момент подбежала, Помпеев перед ним извинился, и он сказал ему очень вежливо свое "простите" и добавил "пожалуйста", а еще сверх того сказал что-то в этой толкотне совсем неразборчивое, не то "фыр", не то "выр", и парень, конечно, из этих последних слов ничего уже больше не понял, он просто поскорее по-молодецки выпрямился и, снова став долговязым, залез опять на свой стул и по-прежнему стал громко (еще громче.) кричать, зато вдова, которая тоже все слышала, все сразу и поняла и, заплакав, еще крепче схватила Помпеева за руку и потащила его куда-то подальше: прочь, куда угодно, лишь в сторону, поскорее прочь. Но они не смогли никуда теперь выйти из этой волнующейся и кричащей толпы, которая прижала их как море, к самой стене, потому что в это время уже все больше людей становилось на цыпочки и кричало вокруг, что было

мочи, а в парадную, сколько она ни просила, затащить ей Помпеева не удавалось. Он, правда, вместе с ней, шел все дальше, среди этой большой толкотни, задевая людей, но иногда вдруг останавливался и стукал одного кого-нибудь по голове, а другого по лопатке или, скажем, по заду, даже выбирая, кажется, кто в данный момент *всех громче кричал,* и вдова уже отчаиваясь, то хватала его за руки, то отставала вдруг и, стоя, следила за ним издалека, а потом, вдруг снова бежала вперед, чтобы снова догнать, хотя теперь уже, она видела, все было совсем бесполезно: она не знала сама, что ей теперь против него надо сделать.

А к Помпееву, конечно, когда он так стукал то того, то другого, люди, которых он задевал, вдруг оборачивались. Сначала просто думали, что это из-за того, что здесь большая толпа, и, вот он, такой, значит, самый неловкий, ходит здесь сзади и так зверски толкается. К тому же, сначала он еще иногда извинялся. Но чем больше становилось везде шуму и крику, тем менее ясно говорил Помпеев свои "ах, простите — ах, извините", а если и говорил, то его фыркающих неразборчивых слов потом уже совсем не было слышно: так продолжалось, пока, наконец, какой-то дядька, как говорится, не дал ему сдачи. И сразу Помпеев упал, а кто-то вдруг наступил ему на грудь, и закипела в этом месте вдруг свалка и та самая обычная площадная драка, которой вдова, по природе своей, всегда так боялась, как чего-то грубого и непонятно мужского, и уже не видно было, кто кого бьет и за что, так что вдова, подойдя все-таки ближе, с ужасом видела то чей-то мелькающий испачканный лоб, который был так напряжен, будто бы готов был сейчас бодаться, то галстук, который, очутившись вдруг на асфальте, один лежал в этой сумятице ровно и как по линеечке со своими синими строчками, то, наконец, белую культю Помпеева, которая, мелькая перед ее глазами все чаще, с каждым разом от расползшейся крови становилась все более мокрой и красной. И наконец, она увидела всего Помпеева, потому что его, изодранного, выбросили вдруг на дорогу, мимо солдат, через веревку, мимо стоящих милицио-

неров, и Помпеев, пытаясь на себе что-то поправить, безумно стоял на голом месте один, потом рвал зубами свой бинт, а потом, задыхаясь, время от времени громко кричал: "вы разжалованы, капитан..." Этот беспорядок длился секунду, и потом наехал кортеж.

Как всегда, впереди катились строгие мотоциклисты в ремнях, причем на руках у них были одеты белые раструбы, а под мотоциклами горели желтые фары. "Милицию, — подумала почему-то вдова, — надо позвать милицию"... Она ужаснулась, когда мотоциклисты наехали на Помпеева.

"Наехали" не надо понимать так, что Помпеев попал под колесо и кем-то был неосторожно задавлен. Нет, Помпеев как все время стоял, так и стоял. И ни один из мотоциклистов, кажется, даже не нагнулся и уж, конечно, не остановил машину, не слез, не взял Помпеева за руку, не нажал вообще на тормоз, сам кортеж в целом тоже никак не замедлил своего движения. Но вдруг все, кто стоял поближе, в том числе и вдова, увидели, что Помпеев исчез. В эту праздничную минуту это был, конечно, сам по себе такой малозначащий факт, что многие, занятые в этот момент генералом, даже и не увидели в этом чего-то особенного и, громко крича, даже и не подумали обращать на это внимания, хотя некоторых, против их воли, пробрал нервный тик. По-прежнему мерно катились вперед машины, сверкая лаком, хромом и никелем. По-прежнему весь народ громко кричал: "Ура, генерал!" Горели при ярком солнечном свете желтые антитуманные фары, и цвет мотоциклов кидал на все соседние лица красные отблески, а спицы и ручки сверкали и куртки-кожанки, перетянутые крест-накрест ремнями, тихонько поскрипывали: ура, генерал! Сам генерал, как водится, мерно кивал направо и налево своей головой. Но только, посреди этого всеобщего шума и общего нарядного движения куда-то вперед, не было, как прежде, Помпеева. Он исчез, как будто ничего не случилось. И после него ничего не осталось: ни пуговицы, ни ремня, ни горстки пепла, как в романах наивных писателей прошлого, ни даже окурка, ни одной волосинки или травинки, ни слова, ни подписи. Самые

наблюдательные, конечно, чуть-чуть удивились и протерли себе глаза. Немногие даже о чем-то подумали, в том числе, конечно, опять о себе. Вдова стояла с упавшим сердцем и потерянным видом среди толпы, она не знала, что ей теперь делать: Помпеева не было. Куда ей пойти? Куда жаловаться? "Надо пойти в милицию, — шептали ее губы, — надо пойти... да... пойти..." Она никуда уже больше не шла, потому что не верила после такого чуда в милицию, и хотя ее теперь сильнее толкали, стояла все там же, где остановилась, около того самого места, где исчез недавно Помпеев: перед ней то вдруг всплывало, то снова все больше тонуло лицо Помпеева, каким она видела его в последний раз минуту назад. Он рвал на себе бинт и кричал кому-то "фыр-выр", а рука его дергалась, и лицо дергалось и было такое, как будто он очень много боролся, и вот с этим лицом, выйдя за веревку перед толпой, он снова пытался что-то делать, а она-то дура, всего-то час назад подумала, что у них начнется все-таки счастье и новая жизнь... Ужасно, не правда ли? Это ужасно!..

Вдова закрыла лицо руками и, горько заплакав, пошла искать Помпеева, куда глаза глядят.

сентябрь 1963

Андрей Битов

ПУШКИНСКИЙ ДОМ

(Глава из романа)

Что делать? (Пролог) *11*

Раздел первый. *ОТЦЫ И ДЕТИ* *17*
Отец *19*
Отдельно о Диккенсе..... *39*
Отец (продолжение) *46*
Отец отца *57*
Отец отца (продолжение) *75*
Версия и вариант *103*
Наследник (Дежурный) *123*
Приложение. *Две прозы* *137*

Раздел второй. *ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ* *149*
Фаина *155*
Фаталист (Фаина — продолжение) *194*
Альбина *200*
Любаша *220*
Миф о Митишатьеве *225*
Версия и вариант *243*
Г-жа Бонасье (Дежурный) *256*
Приложение. *Профессия героя* *264*

Раздел третий. *БЕДНЫЙ ВСАДНИК* *285*
Дежурный (Наследник — продолжение) *290*
Невидимые глазом бесы *311*
Маскарад *328*
Дуэль *334*
Выстрел (Эпилог) *365*
Версия и вариант (Эпилог) *373*
Утро разоблачения, или Медные люди (Эпилог) *383*
Приложение. *Ахиллес и черепаха (Отношения героя и автора)* *397*

КОММЕНТАРИЙ к юбилейному изданию романа (1999 г.) /составитель акад. Л. Н. Одоевцев/ 413

ДЕЖУРНЫЙ (Наследник — продолжение)

Итак, именно так обстояли у нас дела с Левой накануне октябрьских праздников 196... года.

Прожив для себя достаточно длинную жизнь, Лева был человеком мнительным. То есть он преждевременно взволновывался предстоящим и встречал его почти равнодушно, когда оно наступало. Так он жил по соседству с бедою, всегда переживая ее рядом с непосредственной болью. Он „так и знал", когда что-нибудь с ним наконец случалось, а потому бывало еще обидней, что судьба тупо не меняла своего русла, легко смывая преграду его предвидений и предчувствий...

Эту осень Лев переживал особенно остро. Слишком мерно струилась та самая „божественная нить", слишком долго ничего не происходило, чтобы все это „ничего" не скопилось и не означило хоть „что-нибудь". Лева ощущал над собою некое неявное сгущение, какой-то замысел сил... Неизвестно, откуда и что ему грозило, но Оно подкрадывалось к нему, неопределенное и неоправданное, оттого все страхи левины казались и ему самому неумными и неуместными, делиться без боязни быть непонятым, было не с кем, до тех пор, пока они не оправдались бы — все смыкалось вокруг Левы. Ждать удара было по-прежнему неоткуда, и он объяснил себе свои предчувствия так, что слишком давно ничего не писал „своего", уже, без малого, год, даже больше года... Проходила осень, на которую он еще весною с такою надеждой все отложил, золотая осень, которую он, по примеру Александра Сергеевича, предпочитал для вдохновения, вот и октябрь прошел — ничего. И если он не сядет наконец, то и будет совсем плохо — так объяснял Лева тягость своих предчувствий. Если он, не сегодня — завтра, не одолеет себя, то и впрямь, то и что-нибудь внешнее случится... заключал Лева, изучив свою судьбу.

И случилось. Было это скорее насмешкой, чем ударом этой судьбы. На каждые праздники кого-нибудь из наиболее

невезучих сотрудников оставляли дежурить в Институте... В этот раз такая честь выпала Леве. Выбор пал на него по многим причинам, самой веской из которых, хотя и не названной, была та, что Леве на этот раз необычайно трудно было отказаться. Как молодой, неженатый (разведенный) не несущий никаких особенных общественных нагрузок, хотя и беспартийный, сотрудник, у которого, кстати, вскоре после праздников назначена была защита, отказаться он не мог.

„Вы, конечно, можете на часок-другой отлучиться днем, — ласково, по-отцовски говорил заместитель директора по административно-хозяйственной части, он же секретарь парткома, говорил „идя навстречу"... — Часок-другой... Поесть там, то-другое... Предварительно договорившись с вахтером. Ночью — ни ни!" Все та же левина „репутация" не давала ему возможности возразить. Его отказ мог бы быть истолкован антиобщественно, что и подчеркнул взглядом, одним лишь взглядом, зам. директора. Взгляд у него был особый: приходилось думать, вставной ли у него глаз, но, присмотревшись, оказывалось, что не вставной.

Отказаться Леве было бы невыгодно.

„Ну, что ж..." — думал Лева. Он убедил себя, что так даже к лучшему (что ему, впрочем, оставалось?), что с Фаиной он, так и так, снова в разводе и потому никаких планов веселья на праздники у него не было, что наконец-то он сможет сесть за дело, а где же еще, в праздничной суете, ему удастся поработать, как не здесь?.. Решительно, иметь возможность поработать три дня в полном уединении — есть Божье благословение!

Тем не менее, первый же свой, предпраздничный еще, вечер в институте Лева провел в совершенной и все возрастающей тоске. Ему показалось, что это его праздничное невезение вовсе еще не отвело от него руки судьбы...

Сесть за работу ему не удалось. Он отворил свою диссертацию („Некоторые вопросы..."), брезгливо полистал, стоя. Поза его была небрежна и пластична, демонстративна и от-

дельна от этой пухлой рукописи... будто кто-то мог его видеть! — он все еще оборонялся, с абстрактной ловкостью... Полистал, скривился: набежал полный рот слюны — приступ тошноты. Сглотнул — и захлопнул театрально. Оглянулся — но никто не мог его видеть.

Он слонялся по коридорам, заходил в пустые комнаты, рылся в чужих столах и ничего не находил там любопытного — одну чепуху и дрянь. Погода за окном была, как грязная и мокрая вата. В заведении было холодно, хотя и топили... „Топят — музей..." — сыро подумал он... В течение рабочего дня Леве никогда не бывало так холодно. Он впервые так остро ощутил неприязнь к своей академической цитадели.

Он звонил Фаине — ее все не было дома. Когда же он наконец услышал ее бодрый и веселый голос, его тренированное воображение мигом нарисовало определенные картины, столь привычные, что почти необходимые ему в своей растравляющей яркости. Но нет, сказала она, он все это придумал, как всегда, просто такое у нее сегодня настроение, просто предпраздничное... а как его дела? Она, казалось, ничего не помнила: ни их последнего разговора, ни оскорблений, ни разрыва... Она ему звонила — его не было дома... Вот как, даже звонила? От ласкового ее тона, от неожиданной снисходительности Лева растерялся, растаял и охотно стал жаловаться на судьбу, запершую его в стенах института, по-видимому ожидая от Фаины сочувствия. Но она вдруг рассердилась: вот всегда с ним так, а она-то хотела провести праздники вместе... — повесила трубку.

Лева привычно раздергался, начал судорожно звонить, путая цифры, но все было занято. Вдруг, не успел он положить трубку, телефон зазвонил сам. Лева, затрепетав, выхватил трубку, как пистолет. „Я тебе все звоню, звоню — все занято и занято! — бодрым и веселым, как бы не позволяющим себе никогда унывать голосом говорила мама. — Левушка, мы все тебе очень сочувствуем, но ты не унывай, Левушка..." — Лева вздрогнул: что? откуда это „не унывай, не унывай..."? „Вот и отец тоже..." — быстро говорила мама (она полагала себе

задачей — улучшать отношения между отцом и сыном)... В Леве приподнялось и упало, как в лифте, он безнадежно сел на стул, оплыл. Да, да, говорил он, отставляя трубку от уха. Ел ли он, а то она сейчас прямо к нему приедет и привезет, ты не поверишь, грибы!.. коржики, она как раз только испекла, совсем свежие... Коржики — это почему-то задело Леву, и все в нем зазудело и заныло. От любви, жалости, стыда и нетерпения — Лева, зашипев, подпрыгнул и перевернулся, как гриб на маминой сковороде. Может Фаина ему звонит как раз сейчас? Нет, нет, ничего не нужно! — грубо и сухо прервал Лева.

Тут же решительно набрал номер Фаины. Хватит!! Он хотел ей окончательно сказать, чтобы она его не разыгрывала, что он все знает, что он не мальчишка уже, чтобы вертеть им, как... и т. д. Но было занято. Тогда он захотел ей объяснить, что это не его вина, что он застрял в институте, что (хочешь?) он плюнет сейчас на все, и на институт, и на диссертацию, и придет... Но было занято. Тогда он захотел сказать ей просто, не объясняясь, что по-прежнему любит ее, пусть она на него не сердится, и они тогда придумают, как быть, потому что всегда что-нибудь можно придумать, если любить и не мучить друг друга... И тут вдруг соединили. Лева сказал ей, с кем это она, интересно, болтала полтора часа... Фаина сказала... У них состоялся совершенно беспредметный разговор, и оба уверенно швырнули на рычаг трубки. Больше никто к телефону не подходил, сколько Лева ни звонил. Потом он без конца стал попадать в аптеку.

Но эти телефонные страсти помогли ему скоротать вечер, и он улегся на директорском диване — уснуть же не мог.

Он вдруг вскочил, решительно и бессонно, зажег свет и осветил свое вытянувшееся и побледневшее, с разверстыми, блестящими глазами, лицо... Он подошел к столу, резко отодвинул диссертацию, чуть не сбросив ее со стола. Достал из портфеля зашарпанную тонкую папку: давно он все носил ее с собой, давненько не раскрывал...

Там была и статья „Три пророка", тот самый экземпляр, с ушами... Ее он отодвинул туда же, к диссертации: он относил-

ся к ней теперь, как к „Пророку" Лермонтова. Дальше была другая, наполовину перепечатанная, наполовину в рыхлых, будто отсыревших заметках от руки — эту придвинул к себе. Перелистнул, перелистнул — приостановился, стал читать. Радостно зачмокал, закивал головой... Да, да! подумать только...

И мы заглянем ему через плечо...

Это была „Середина контраста" — работа Левы о „Медном всаднике". Начал он ее тогда же, сгоряча, после „Трех пророков", но, уже в середине, стал всем показывать... и с чем-то таким столкнулся, с неким недоумением. Работа получилась, уже можно было судить, даже более уверенная, ясная и крепкая, более и профессиональная — Лева стремительно обучался — и вдруг она оказалась как бы не новостью... Хотя Лева так же повествовал, так же непосредственно („не" — вместе и отдельно) излагал новые и не новые, но *свои,* самостоятельно его озарившие мысли — читавшие похваливали, но без энтузиазма, словно они где-то это уже могли читать, словно эта статья как бы уже была раньше: не новость... Не новостью стало то, что Лева, в принципе, способен написать что-то, с началом и концом, от *себя.* Ну, можешь... ну, показал... но — сколько можно? — хватит, отметился и будя... Что-то из этого было в соскальзывающих по щеке взглядах. И Лева остыл, расплескался, охладел, его нагнал новый, уже грандиозный, суперзамысел. Лева стал азартно что-то набрасывать — и осекся...

Сейчас он читал „Середину контраста" и ерзал от нетерпеливого удовольствия: „Как это все верно, верно!.." — озирался по сторонам. Как это он, такой еще молодой ничего не понимавший и не знавший, *все знал!* Он прочитал сейчас о Государстве, Личности и Стихии — и охнул: господи, неужели это он, Лева, написал?!.. Вскочил, пробежался по комнате, нетерпение его нарастало, взвивалось к потолку, глаза не видели и туманились — потирал руки: так, так... так! А как это он здорово написал — о середине контраста, о мертвой зоне, о немоте, которая есть эпицентр смерча, тайфуна, где спокойно, откуда

видит неуязвимый гений! Про главное, гениальное, немое, опущенное, центральное, про ось поэмы!.. Здорово!

Лева бросился к столу... Нет, и это уже пройдено! Он выхватил оставшиеся в папке листы... вот он! свод, купол! сейчас, сейчас... поймаю... Это же, это же *мое* дело! Вот и напишу, здесь, всем назло... — более мелко трепыхнулось в нем и отстало — он погрузился в листы. Образ деда, приникшего к кружке, подскочил и отскочил напрочь. Вот оно... ради чего... стоит... Это и был его суперзамысел. „'Я' Пушкина" — не больше и не меньше. Собственно, это естественно для него, такой замысел... Отойдя на несколько лет, он теперь отчетливо видел, что и „Три пророка", по сути, о том же, и тем более, в „Середине контраста" — там уже вообще только об этом. Уже тогда намечалась такая органическая линия! уже тогда... Эта невольная цельность еще вдохновила Леву. Он взял перо. Сейчас, именно сейчас!.. Купол!..

Он придвигал и отодвигал листки, выравнивая их края... Он читал эти вдохновенные, обрывочные и „для памяти" записи — и не понимал, что он имел *тогда* в виду. Это его теребило и мучило: он не мог отдаться тому, что им владело сейчас — ему непременно необходимо было вспомнить, что он имел в виду *тогда,* — и не мог. Он отодвинул заметки и взялся за стопку „планов" работы. Их было уже много — первый, другой, третий... Это были следы его „возвращений". Планы становились все отчетливей, и, под конец, он нашел даже просто копию — патологически ровный, тщательный и мертвый почерк.

Ужас подкрался к нему не до конца: Лева решительно встал и отвернулся от того, что в темном углу, от этой годуновской кашицы во рту. „Заново! Заново!" — немо вскричал он, как Шаляпин: „Чур, чур, дитя!" Новый план! — и не заглядывая, не оглядываясь, начинать все снова, *сейчас!* Только так.

Чистой бумаги не было. Ящик стола был заперт.

Все еще возбужденный, и испуг прошел... выскочил он искать бумагу. Дернул соседнюю дверь — ага, ключи у вахтера.

Он спустился тогда, с бессонным своим лицом, к вахтерше, и они разговорились. Лева вежливо выслушал ее рас-

сказ о дочери и пьющем зяте, и ему показалось, что он этот рассказ где-то уже слышал или, может, читал. Ему стало скучно и хотелось поговорить о себе. Что он и сделал, постепенно увлекаясь и впадая в ненужную откровенность. Вахтерша слушала со здоровым любопытством и туповатым оживлением на лице: Лева рассказывал о своей любви с большим чувством. Он уже ощущал тот ужасный осадок, который сопутствует излишней болтливости. И чем больше он его ощущал, тем стремительней говорил. Вахтерша уже могла не поддерживать беседу — лишь слушала с очевидным сладострастием. И Лева вдруг сморщился и осекся. Тогда вахтерша, совершенно точно почувствовав свою власть над Левой, попросила отпустить ее к дочке, чтобы помочь ей справиться с пьющим зятем: все равно они вдвоем тут ни к чему, и он прекрасно справится сам. Лева тут же поспешно согласился, сказав спасибо вместо пожалуйста.

Лева поднялся к себе наверх. Освещенно и отдельно, лежали раскиданные по столу листы, будто они одни и были в остальной невидимости комнаты... будто плыли. Лева подкрался к ним, заглянул тихонько и сбоку, как через чье-то плечо. „Ну, да, конечно... Но — кому? для кого?! зачем!!!" — молча вскричал он — и сгреб их, не разбирая, в портфель.

Воровато потушил свет и поспешно лег. Он хотел не вспоминать о вахтерше — но вспомнил. Тут Лева, такой большой, представил себе безбрежность казенного дивана, черного даже в темноте, сжался в комочек, как маленький мальчик, чтобы как бы сиротливо и крохотно поместиться на нем, и начал нарочито всхлипывать. Ему очень хотелось плакать. Он представил себе, как в детстве, собственные похороны — и все равно заплакать почти не удалось. Но немножко все-таки удалось, сухими, разучившимися слезами. Больше не получилось, и ему ничего не оставалось, как решить, что — хватит, что за детство!.. что он уже успокоился... „Утро вечера мудренее..." — криво подумал он и торопливо, с опаской, уснул.

Снилась ему широкая река, как бы та самая, что течет

у их института, но и не та самая. Она неожиданно и не вовремя вскрылась ото льда и оказалась густая, как клей. Над ней стоял тяжелый пар, и все сотрудники института, не взирая на положение и возраст, должны были плыть через нее, для сдачи норм ГТО.

Многие уже плыли, нелепо и медленно вытягивая белые руки из густой слизи. И лишь он, да еще один доктор, благородный старик с длинной бородой, которого все за глаза звали Капитаном Немо, жались и прятались между свай, и Капитан Немо все дрожал и подсовывал бороду под плавки. А у самого берега, болтаясь на медленной, густой волне, как поплавок, лежал на спине, в полном своем костюме и с орденскими колодками, заместитель директора по административно-хозяйственной части и, глядя на них неправдоподобно круглыми и застывшими глазами, манил их картонной рукой...

Разбудил его телфонный звонок. Лева судорожно вскочил, проглотил затрепыхавшееся, подступившее к горлу сердце, и некоторое время озирался, не понимая, где он и почему. Наконец прошлепал в носках к телефону и как раз опоздал: телефон смолк — только Лева потянулся к нему. Лева так постоял над ним, не вывернутых стопах, поджимая пальцы, рассматривал, не узнавая, стол, словно на нем было пятно. Вдруг вчерашний вечер опрокинулся на него, но все это, тем более, вахтерша, был еще сон, театр теней — Лева этого не помнил, он просто еще раз проснулся с тем странным вечерним чувством интеллигента, что был вчера как бы пьян: брал или не брал в рот — безразлично. Кто бы это мог звонить так рано? Фаина?.. Однако — не Фаина: телефон зазвонил снова, как бы громче и чаще, чем в первый раз... В трубке раздавался волнистый плеск, как в тазу...

— Ну, как, князь, дела?

Это был Митишатьев, один из наиболее близких новых институтских приятелей, заведшихся в последнее время... Лева взглянул в окно, в казавшееся ледяным небом, и обрадовался Митишатьеву.

— Гниешь? — ласково сказал тот своим прочным, уве-

ряющим баском. — Ну, так я сейчас к тебе забегу. Мы идем в тесных рядах и как раз поравнялись с твоей клеткой...

Так вот откуда этот странный плеск в трубке! Действительно, институт был расположен так, что, с одной стороны, это был совсем тихий и безлюдный уголок, а с другой, всего через квартал, пролегала магистраль, по которой всегда протекал поток демонстрантов, направляясь к Площади. Следовательно, Митишатьев был в трех шагах. Так, так.

Лева подошел к окну... Фаина! о господи... Что это за ватник? Ха! — подумал Лева с тоскливым злорадством, — столкнется ли она с Митишатьевым?.. Прошла... Вот все, что у меня осталось... — скорбно вздохнул Лева, снова доставая бедные свои листки.

Внизу стучали, звонили, гремели. Это вдруг достигло его — грохот... „Слетаются... — мрачно подумал Лева, скорее сгребая со стола бумаги. — Чья это служба так налажена — непременно не дать человеку создать хоть что-либо?..“ Когда он подошел к двери, перебирая ключи — к стеклу уже припало, расплющив нос, толстое лицо Митишатьева: тот слепо щурился и ничего не видел в темном вестибюле, сам хорошо освещенный. И был он не один: за его спиной маячил еще кто-то, рыжий, без шапки. Лицо показалось знакомым.

Лева сам не ожидал, что так обрадуется Митишатьеву.

— Ваш пропуск? — игриво сказал он, ожидая, пока они пройдут, чтобы запереть за ними.

— Вот! — и Митишатьев достал из кармана маленькую.

— Готтих, — представился рыжий мальчик, чопорно поклонившись, даже шаркнув, и покраснел.

— Фон Готтих! — воскликнул Митишатьев и хохотнул. — Мой дипломник. Твой поклонник. Считает тебя четвертым пророком...

Лева припомнил смутно, что как-то видел Готтиха в коридорах Института.

И они пошли наверх, похохатывая и похлопывая друг друга. Готтих скромно приотставал на ступеньку.

— Ты с ним поосторожнее... — сказал полушопотом

Митишатьев. — Он... — выразительно постучал по перилам.

— Что ж ты его привел?.. — изумился Лева.

— Уважает нас... — довольно рассмеялся Митишатьев.

И они достигли директорского кабинета.

— Осваиваешься, значит? — сказал Митишатьев, иронически взглядывая на дверную табличку. — А что, я всерьез говорю... Был бы хоть директор с приличной фамилией. Князь! Фирма! — говорил он, с треском распахивая дверь, врываясь в кабинет и начиная с запозданием оттаптываться и отряхиваться — отдуваться. Он сбросил на диван пальто и, с шумом и удовольствием, забегал по кабинету, потирая словно бы озябшие руки. — Вот и стаканы́ есть! — восклицал он. — И запить есть чем. — И он переносил поднос с графином на директорский стол. — И закусить есть чем, продолжал он, схватывая со стола массивное пресс-папье и подчеркнуто беспомощно пытаясь его укусить, — промокашка, так сказать, имеется... Нет, ты мне вот что, князь, скажи, где мне тридцать рублей занять?

Короче, Митишатьев произвел столько шуму, словно ввалилась с морозу большая компания. „Зачем ему еще общество? — с восхищением и завистью подумал Лева. — Он один целое общество..." Готтих пока что тихо снял пальто, повесил его, куда положено — на вешалку, и стоял около вешалки, разглаживая волосы и выравнивая плечи. Митишатьев тем временем успел сбегать за недостающим стаканом и принес целых два. Вскрыл банку с бычками, разлил по стаканам.

— Ну, прошу... Чем Бог послал.

И он поднял свой стакан.

Готтих подождал, пока Лева поднимет свой, и тогда тоже поднял.

— С великим праздником, дорогие мои-и! — вскрикнул Митишатьев как бы с дрожью в голосе и даже со сдержанным рыданием. — Водкой можно и чокнуться, — добавил он спокойно. — Твое здоровье, ночной директор... И ваше, Готтих... И наше, — и Митишатьев опрокинул стакан и выпучился, поспешно запихивая в рот бычка. Лева выпил с достоинством, а

Готтих поперхнулся и уронил бычка на ковер, уронив, очень покраснел и засвистел „Сердце красавицы", незаметно подпихивая бычка под стол.

— Ай-яй! — сказал Митишатьев. — Этому я вас не учил. — Митишатьев, без тени брезгливости, поднял бычка за хвост и бросил его в корзину. — Надо все-таки уважать...

Уничтожив так Готтиха, Митишатьев подбежал к пальто и достал еще маленькую.

— Еще по одной? — И не услышав ответа, разлил.

Выпили. Лева ощутил тепло и приятность, глаза его повлажнели.

— Что бы я без тебя делал? — сказал он Митишатьеву.

— Уж и не знаю — привел бы девочек, а?

— Да ну! — махнул рукой Лева. — Так вот куда лучше...

— Что ж мы стоим? и не курим?

— Действительно, — удивился Лева. — Всегда забываю, что я курю, когда выпиваю, и все думаю: чего же не хватает?

— Еще выпить, — подсказал Митишатьев и достал маленькую.

— Ну, ты даешь! — восторженно сказал Лева. — Сколько же их у тебя?

— Сколько есть — все наши, — сказал Митишатьев.

Готтих посмотрел на маленькую мутно и с испугом.

— Ладно перекурим, — вздохнул Митишатьев, взглянув на Готтиха.

— Скажите, князь, — произнес Митишатьев, — отчего это так приятно произносить: к-н-я-зь...

— В детстве я больше любил слово „граф", — задумчиво сказал Лева, глянув на Готтиха.

— Это от Дюма, — сказал Митишатьев. — Гр-раф-ф де ля Ф-фер-р!.. Да ты не обращай на него внимания, — кивнул он в сторону Готтиха. — Он же пьян.

— Теперь мне тоже больше нравится „князь", — усмехнулся Лева.

— Теперь вообще всем это стало нравиться... Куда не придешь на вечерок, обязательно окажешься рядом с древним

отпрыском. Это у нас-то, через столько-то лет — и вдруг такая тяга у интеллигентов к голубой крови!.. Чуть выпьет — то и граф уже, по крайней мере, тайный советник. Тяга, прямо как у кухарок до революции... Ну, те хотя бы у них служили. А эти-то что? Недавно прихожу в один дом, начинаю знакомиться, хлыщ один, действительно на гусара похож — только в териленовом костюме — Нарышкин, говорит. Вот, думаю, кровь-то сказывается — сразу видно! Я у всех спрашиваю: что, действительно, Нарышкин? — смеются. А он, оказался потом, Каплан вовсе...

— Да... — довольно засмеялся Лева, потому что разговор был ему лестен: он-то, действительно, князь, и это ни у кого не вызовет сомнений. — Это ты верно подметил, расхвастались необыкновенно.

— И не хвастались бы, если б это невыгодно было... Да что, на этом сейчас почти карьеру можно сделать! Во-первых, если князь, то уже не еврей, но если и еврей — все равно лестно: сочувствующий, уважительный найдется. Соскучились люди никого не уважать и всего бояться. Уважать им охота. А тут, чего проще — князь... Не страшно. Вот ты, например, думаешь, что ты все сам, что в твоих успехах это ничего не значит, что ты князь? Как бы не так. Тебе многое прощают из того, что не простят другому, тем более ты так прост, лестно для сволочи прост, многое тебе посчитают естественным из того, что другой понимать должен и знать свое место. Или еще доказать должен.

— Да что ты раскипятился ? — растерялся Лева.

— Конечно, какие сейчас князья?.. а все-таки... Анкет перестали бояться, — ядовито заключил Митишатьев, — вот знамение времени, так сказать... Вот и хвастают.

— Почему же хвастают? — с трудом разлепив губы, сказал Готтих. — Вот я, например, барон, а не хвастаюсь же?

— Цены бы тебе не было!.. — расхохотался Митишатьев, а Лева отвернулся улыбнуться в сторону. — Цены бы тебе не было — будь ты пролетарского происхождения... Но ты же у меня — фон! Это точно, Лева. Так... Встаньте же, ведите себя, как положено в высшем свете. Вообразите, свечи горят, дамы

вальсируют, и я вас представляю друг другу, хотя последнее труднее всего вообразить... Я сын простого лавочника. Вот ведь как, тоже не пролетарий, тоже с происхождением. Ну да, в наше время чего не бывает... Итак, я вас представляю друг другу: Князь Одоевцев! Барон фон Готтих! А? Каково! Звучит... Князь Одоевцев — осколок империи, и барон — тоже осколок... Я — в *осколках!* Ха-ха-ха! — загрохотал Митишатьев надолго. Наконец, как бы вытирая слезу, разрешил: — Ну, можете сесть. Все. Вообразили — и хватит. Больше такого вам не представится, поверьте мне. Или ты надеешься на реставрацию? А, Лева?

— Ну, уж нет, — с неподходящей серьезностью все-таки косясь на Готтиха, отвечал Лева. — Мне-то она уже зачем? Что я-то с ней буду делать? Это смешно даже представить: что во мне осталось от князя... Имя? Какой я князь, — молвил он печально.

— А достоинство твое? Достоинство-то твое, оно выпирает?

— Какое достоинство — лень одна, нежелание соваться.

— Не говорите так, — вдруг сказал Готтих, — это недостойно. Надо нести... с честью...

— Что надо нести? — переспросил Митшатьев. — Чепухи не надо нести, милый... И перебивать старших тоже...

— Я могу и встать! — обиделся Готтих, бессильно опираясь на подлокотники и падая назад в кресло. — Я могу и уйти!

— А как же маленькая? — сказал Митишатьев. — Мы же еще не допили?

— Вот допьем — и уйду, — сказал Готтих.

— Ты уж меня извини, барон, — сказал Митишатьев, когда они выпили. — Это я пошутил. Может, грубо, глупо, но пошутил, но любя... Дай мне свою руку. Вот так. И никогда, чтобы больше, верно? На всю жизнь, правда? Ну, давай поцелуемся... — И он подмигнул Леве.

Леве стало противно и скучно.

— Не надо, — сказал Лева.

— Ладно, ты прав, — посерьезнел Митишатьев. — Прав,

как всегда... Нет, серьезно, примечательная судьба у парня. Он, представь себе, поэт. Печатается. Сотрудничает в патриотических редакциях... Фон Готтих — стихи о мартенах...

— О матросах, — поправил Готтих.

— Ну да, о матренах... Такой судьбы в русской поэзии еще не бывало. После десятилетки отпустила его баронесса со слезами в плавание. Плавал он, плавал — и вдруг сообразил. Пошел в библиотеку, взял подшивки старых областных газет и посписывал оттуда он праздничных стихов и стал их носить по редакциям: соответствующие стихи — к соответствующим праздникам. Ну, а это такое дело — как известно, голод. Стали у него эти стихи брать и стали их, соответственно, печатать. Так он жил от праздника к празднику и носил вырезки в кармане: показывал уполномоченному, если что. Как вдруг — крушение. Какой-то кретин узнал *свое!* Подумай, какая память у людей!.. и зазвонил, затрубил... Даже фельетон появился: лицо без определенных занятий, плагиат и так далее. Наш барон оскорбился и решил: что мне отвечать за всякую дрянь, я и сам могу не хуже. Попробовал — и, действительно: вышло лучше. С тех пор он сам и пишет. *Лучше* пишет. Печатается. Сотрудничает... С портретом. И уполномоченному нос утер... Он теперь старше его по чину...

— Вы надо мной издеваетесь... — вяло сказал Готтих. — Я хочу уйти.

— А может, еще выпьем?

— Эт-то можно, — сказал Готтих.

— Только надо сбегать, а?

— Сами бегайте.

— Ты же все равно хотел уйти — все равно выйдешь на улицу — так что тебе стоит? — просительно сказал Митишатьев.

—Разве, что так... Это верно, я не сообразил... — сказал Готтих. — Все равно ведь на улицу выходить... — И он, резко оттолкнувшись, встал, страшно побледнев при этом. И так некоторое время стоял, вытянувшись, идеально прямой и бледный.

Зазвонил телефон. Готтих упал обратно в кресло, а Лева

снял трубку.

Это был старый Бланк.

Сняв трубку, Лева потерял равновесие: несколько оступился и некоторое время балансировал на одной ноге, — но главное, он балансировал на телефонном проводе, покачивался и зависал.

На одном конце провода, на конце Левы, находился Митишатьев — это была реальность: они были вместе и пили, Лева и Митишатьев; на другом конце, где-то очень далеко... (Лева даже странно подумал о неком неправдоподобии: раз он не видит человека, с который разговаривает, так может его и нет: конечно, колебания переходят в электрический ток, меняется сопротивление, угольная пластинка, бред какой-то! что за отношение это имеет к тому, что один человек говорит что-то другому? причем тут угольная пластинка?)... на другом конце тем не менее — Исайя Борисович Бланк, благородный старик...

Одного Леву знал Митишатьев, другого — Бланк.

Лева был вынужден разговаривать с Бланком в присутствии Митишатьева. Его неприятно поражала столь резкая перемена собственного тона, словно заговорил другой человек: от собственной благовоспитанности — слегка мутило. Митишатьев иронично поглядывал из-под трубки, словно все про Леву понимая. Эта ухмылка, не более, чем привычная масочка Митишатьева, тоже злила Леву своей выработанностью, что ли, техничностью, тем, что, независимо от прозорливости Митишатьева, она так подходила к случаю.

И пока, на том конце, рассыпался в любезностях старый Бланк, — Лева, на этом конце, тоже, в ответ, рассыпался, но рассыпался буквально, зримо для Митишатьева. Он уже готов был нахамить Бланку в угоду Митишатьеву — но что-то не пускало: кровь не давала... Тут Бланк стал извиняться, некстати заизвинялся и Лева. Митишатьев, для иронии, сыграл „на зубариках" „Марш Черномора". А Лева, устав от этой своей двойственности, столь постыдно — надо же так получиться! — об-

нажившейся, уже не слышал, что говорил Бланк, со всем соглашался, в суть не вникая. Когда же повесил трубку — все понял и похолодел: Бланк сейчас будет здесь.

— Сейчас здесь будет Бланк, — сказал Лева мрачно молчавшему Митишатьеву, неприятно ощущая, как, в этой короткой фразе, успела перемениться его интонация: он как бы не то вынырнул на поверхность, не то, наоборот, погрузился, — и если слово „сейчас" было еще произнесено в точности тем тоном, каким он разговаривал с Бланком, то слово „Бланк" Лева уже произнес тоном, каким перед тем разговаривал с Митишатьевым.

— Грядет Исайя! — хохотнул Митишатьев. — Гряди, гряди... Ис-сайя! А что, как ты думаешь, если я у него денег займу?

Леве все еще не хотелось поймать взгляд Митишатьева.

— Не стоит... — испуганно сказал Лева.

— Почему же не стоит? — Митишатьев как бы обрадовался, привычно ухватив Леву, ощутив его слабину. — А вот и займу!

— Прошу тебя, не надо, — съежившись от предчувствия, сказал Лева.

— Почему же не надо? Как раз он и может дать. Подумает, что купил или унизил меня — и даст.

Лева молчал.

— Слышите, как каплет время? — спросил Митишатьев. — То грядет Исайя!

— У Исайи было удивительное лицо... — глубокомысленно изрек Готтих.

— Иди же вниз, отпирай, — сказал Митишатьев, — не слышишь, как Исайя отряхивает свои бобруйские галоши?

Лева спустился по лестнице в невыразимой тоске.

Спускаясь с Левой по лестнице, мы расскажем немного о Бланке. Он — наш последний персонаж...

С Бланком у Левы были особые отношения. Бланк уже давно не работал в институте, существуя на пенсии. Он не

хотел на нее уходить — он любил намекать на то, что его „ушли". Он стерпел и продолжал появляться в Институте скорее, чтобы потолочься в родной суете, посмотреть, послушать, чем для дела. Но у него имелся и вечный повод: „Одна работа, которую он сейчас пишет", — нет, нет, говорить о ней преждевременно... Был он старик живой, бодрый и общительный, и просто ему было скучно торчать все время дома. „Творить" в тиши кабинета он не умел, да, кажется, и не хотел. Он приходил раза два-три в неделю и перебирался из кабинета в кабинет, слушая новости, сплетни и анекдоты и разнося услышанное из одного кабинета в другой. Он „не мог без людей".

Первое, что обращало на себя внимание в Бланке, была чрезвычайная внешняя опрятность, которую можно было почти счесть изысканностью и изяществом, хотя этими качествами она (опрятность) еще не была. Это была та нечастая печать физической чистоты, какая бывает у давно богатых и давно цивилизованных людей, в прочих же условиях эта черта все-таки индивидуальна... Бланк как бы мог легко общаться с кем угодно, с последней сволочью — и оставался все тем же отутюженным Бланком, без пятнышка. К Леве он потянулся сразу же, авансом — на породу, на фамилию. Он любил останавливать Леву в коридоре и они подолгу разговаривали, и каждый проходящий мимо них вполне питал их разговор, состоявший, главным образом, из оценок и удовлетворения друг другом от совпадения этих оценок и, в свою очередь, от совпадения уже этого совпадения с некой общей, как бы абсолютной, оценкой, которая есть *мнение круга* (на этой „бирже" было точно выверено, кто гений, кто талант, кто честен... и раздвигание подобных „обойм" было смелостью духа, грозившей повышением или понижением в мнении круга, как по службе). Так они обсуждали, и каждый проходивший мимо раздувал огонек их разговора, и, за какой-нибудь час, они успевали обсудить многих. Кроме радостно-общих тем, Бланк и Лева имели и как бы одну общую коллекционную страстишку. Один как бы уже давно собирал, — другой — тоже как бы собирал или собирался начать собирать. Были это то ли монеты,

то ли спичечные коробки...

Лева охотно становился тем, кем его хотел видеть Бланк — человеком „породы", той культуры и порядочности, которая в крови, и ничем ее не заменишь, никак уж ее не выбьешь... Лева подыгрывал, конечно, но это доставляло ему то удовольствие, как будто Лева вспоминал что-то о себе, и была в этом какая-то не проявившаяся в его жизни правда. В этой роли он чувствовал себя естественно и, поскольку давно уже не знал сам, где находится и кто же он, даже доходил до полной достоверности ощущения, что он именно тот, за кого его Бланк принимает и за кого он ему себя выдает. Примечательно, что никогда — здесь его инстинкт был на высоте — не разговаривал Лева с Бланком в присутствии третьего лица: он замолкал и уходил, как только оно появлялось. Для Бланка это, естественно, сходило как бы за то, что у них разговоры не для чужих ушей и ни к чему профанировать настоящее их общение.

Бланк был как бы вот какой человек: он не мог говорить о людях плохо. Если он говорил, что все — ужасно, то его оценка отдельных людей была превосходна. Если же он позволял себе ужаснуться кем-нибудь, то говорил о жизни как о даре Божьем... Всякий раз его сознание, описав фантастический логический круг, взмыв спиралью, обернувшись, находило объяснение любому человеческому поступку с гуманистической точки зрения, когда еще не все потеряно, рано ставить крест и т. д. (Любопытно только, что, при такой его способности, для Бланка существовала группа людей, объединенная одной всего лишь общею чертою, группа, на которой крест был им поставлен заранее. Но — тем лучше становилось остальное большинство...)

Это-то безразмерное свойство, которое можно обозначить как доброжелательность, особенно приблизило Леву к Бланку после той самой пресловутой истории с Левиным приятелем и того процесса, когда Лева так заметался и растерял лицо... Лева как раз вернулся из спасительного отпуска (а приятеля уже не было в стенах) и сносил, как мог, всякие

недомолвки и намеки сослуживцев — тут-то к нему и подошел благородный Бланк. Лева сжался, потому что, если мнение остальных было ему безразлично и могло быть небезразлично лишь по расчету, по расчету же получалось, что им безразличен, прежде всего, сам Лева и что мнения у них и нет, то мнение Бланка, казавшееся таким незначительным в карьерных выкладках, словно бы, странно даже, именно оно, это пустяшное мнение, как раз что-то и значило, причем, не только по-человечески — от него-то как раз что-то и *зависело.* То, с чем опасней всего не посчитаться... И тут благородный Бланк выдал Леве огромный аванс. Я понимаю, сказал он глубоко сочувственно, как вам тяжело переносить все эти слухи, всю эту грязь, тем более, что вы и возразить-то не можете, как порядочный человек, потому что, защищая себя, как бы чистоплотно вы это ни делали, вы как бы невольно продаете своего друга, а в *их* зрении безусловно так и только так; вы не способны на это, я вас так понимаю! но пусть вас хоть утешит, что я ни во слово изо всех этих сплетен не верю... Лева чуть не расплакался, тут же в коридоре, от радости и от стыда, и взятку принял, тут же поверив, что это именно так, как говорит Бланк. Ведь, это же надо, какой глубокий человек! Бланк расстрогался, увидев левино волнение, опять истолковал по-своему, благородно, и они долго, в сладком молчании, с влажными глазами жали друг другу руки. После этого, их разговоры стали еще более проникновенными и у них появилась как бы общая тайна, и, когда появлялся Бланк, Лева уже предавался ему как пороку, сладострастно разыгрывая то, что хотел видеть Бланк. Так у Бланка появилось некое "право" на Леву...

И, чем резче был контраст со всей левиной жизнью, с тем, что он говорил только что сотрудникам, за минуту до того, как Бланк просунул в дверь свою седую кудрявую голову, и Лева, оборвавшись на полуслове, сразу же выходил к нему и начинал говорить совсем другие вещи и даже голос его менялся — и, чем резче и мгновеннее был контраст, тем, как ни странно (это самого Леву удивляло), ему было не больней, а

слаще. Правда, никогда этот их разговор не происходил при посторонних.

Над их привязанностью посмеивались. Над Левой, как над его слабостью, пусть даже простительной; над Бланком же — вообще посмеивались.

И вот сейчас Митишатьев сидел напротив, а Бланк говорил в телефон трезвеющему с каждым словом Леве, что вот он, конечно, представляет, до чего сейчас ему тоскливо сидеть в праздники одному в этой богадельне, что вот его послала жена за хлебом — у них сегодня гости и как жаль, что его не будет — и вот он уже с хлебом и возвращается домой и как раз поровнялся с институтом и звонит из автомата и сейчас зайдет, чтобы хоть как-то развлечь Леву и скрасить ему его тоскливое время... И Лева совсем расслабев, так и не мог сказать Бланку, в чем дело и почему ему не стоит сюда заходить. Митишатьев ухмылялся, еще не зная сам чему, прислушиваясь к левиному разговору, и тут же, вдруг входил в силу, словно оживал и снова наливался жизненной силой старый механизм воздействия его на Леву. Лева уже был подвластен Митишатьеву, Леву раздирало между ним и Бланком, и не перевешивал ни тот, ни другой. В результате, родилась какая-то его немота и мычание — и он ничего не сказал путного Бланку.

Митишатьев и Бланк были противопоказаны друг другу. Митишатьев убивал Леву в глазах Бланка, и Бланк убивал Леву в глазах Митишатьева. Развенчивание и разоблачение... И как предстояло Леве выкрутиться, как говорить сразу на двух языках, поступать в двух противоположных системах одновременно, — Леве было невдомек. И что сейчас произойдет — скандал, презрение — и где та малая кровь, которой, быть может, еще можно обойтись?.. — Леве казалось невозможным распутать этот, по слабости возросший, момент.

И он спускался отпирать Бланку дверь, тускнея с каждой ступенькой, и ему хотелось проглотить ключи.

Слетаются... — думал Лева.

ПЕРЕВОД

Джон Апдайк

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Меня зовут Альфред Швайген, и я существую во времени. Вчера вечером молодой священник рассказывал при мне, что его церковь изменила отношение к раздаваемой на евхаристии облатке. Поколения монахинь и священников, но особенно монахинь (так сказал этот молодой человек), поучали католических детишек, что облатку следует держать во рту и таять ее, и что прикосновение к ней зубами (это никогда не было догматом, но лишь тонкостью духовного обучения) есть в своем роде богохульство. Теперь же, в эпоху расцвета свежих и смелых идей, которыми церковь, подобно оттаивающей тундре, откликнулась на неожиданное появление солнца в лице покойного Папы Иоанна, возникла мысль о том, что Христос сказал не: „Возьми в рот и растай ее", — а: „Возьми и съешь ее". Главное слово тут — „съешь", и растаять слово значит разбавить пресуществленную метафору физической пищи. В мире материальном это легкое богословское потрясение кристаллизуется с прелестной простотой: снабжающим мессу пекарням было наказано забыть науку приготовления тающего на языке теста и делать более толстую, менее податливую вафлю, делать настолько плотную гостию, что ее надобно буквально жевать, дабы проглотить.

Утром я прочел в газете, что убит мой знакомый. Он сидел за обеденным столом со своими пятью детьми, дело было через неделю после Дня благодарения, в окно влетела одна-единственная пуля и прошила ему висок, он повалился на пол и спустя несколько минут умер у ног детей. Я едва знал его. Он был единственной жертвой убийства, которую я знал, и на такую роль не годится никто, хотя в конце концов любая жизнь изживает себя с геологической неотвратимостью. Сегодня уже невозможно представить его живым. Он был специалистом по компьютерам из Небраски. Он был широк в плечах, говорил мягким голосом, и ум его, занятый столь

далекими от меня предметами, дышал таким изрядным спокойствием, что придавал ему, как мне думалось, достоинство айсберга, так безмятежно плывущего на своей невидимой массе. Мы виделись (я думаю, раза два) у общего знакомого, его профессионального коллеги и моего соседа. Как и все люди, чьи области знания безмерно далеки друг от друга, мы разговаривали о предметах, в которых никто не смыслит: о политике, детях и, быть может, религии. У меня сложилось впечатление, что в любом случае ему — как часто случается с учеными и уроженцами Среднего Запада — не было дела до религии, и я видел в нем типический образец той человеческой особи, которая процветает вокруг научных центров, в атмосфере дискуссионных клубов, спорта на открытом воздухе и задорного чадолюбия. Как те вымершие господа, чья половая энергия растрачивалась исключительно в борделях, эти люди посвящают весь свой ум работе, которая так или иначе связана с правительством и потому обыкновенно секретна. Они имеют приличный доход, большие семьи, фольксвагеновские фургончики, стереопроигрыватели, наполовину перестроенные викторианские дома и замученных, иронических жен; они по всей видимости, разрешили — или вынесли за скобки — парадокс того, что являются мыслящими животными и, не обремененные чувством вины, явно участвуют в делах не нынешнего, а следующего столетия. Если память моя резко выделяет его из числа других, то это потому, что я как-то собирался написать роман о программисте и задал ему ряд вопросов, на которые он дал вполне приятственные ответы. Что еще более приятно, он предложил показать мне свои лаборатории в любое время, когда мне захочется потратить часок на дорогу туда, где они находились. Романа я так и не написал (момент моей жизни, который он должен был кристаллизировать, разошелся слишком скоро) и туда не съездил. Вообще говоря, не думаю, чтоб я хоть раз вспомнил о моем друге за год, прошедший между нашей последней встречей и сегодняшним утром, когда за завтраком жена положила передо мной газету и спросила: „Ты ведь знаком с ним?" С первой страницы

глядело его лицо, глаза на котором были посажены широко, наподобие глаз медведя. Я прочел, что его убили.

Я не понимаю связи между вчерашним вечером и сегодняшним утром, хотя, кажется, такая связь есть. Сегодня днем я пытаюсь обнаружить ее, сидя в музыкальной школе и ожидая, пока у дочери кончится урок фортепьяно. Я улавливаю в этих двух событиях некий общий элемент питания, еды, преображенной странным вторжением со стороны, и есть еще здесь какое-то параллельное движение, безупречно прямой и изысканный полет от явления нематериального (тонкость экзегетики, маниакальная ненависть) к материальному (объемистая вафля, пуля в виске). Насчет убийства я уверен, зная его жертву, что проступок ее не заслуживал упрека, и она не могла испытывать из-за него ни вины, ни стыда. Когда я пытаюсь представить его себе, я вижу лишь числа и греческие буквы и заключаю, что из своего отдаления я сделался свидетелем почти небывалого преступления, преступления из неподдельной научной ревности. И вот еще что тут надо добавить: молодой священник играет на двенадцатиструнной гитаре, курит сигареты с ментолом и, по виду, не испытывает замешательства, сидя в кругу протестантов и неверующих, — как и мой покойный друг-компьютерщик, человек будущего.

Но дайте я опишу музыкальную школу. Мне здесь очень славно. Она помещается в подвале огромной баптистской церкви. На столе подле меня лежат золотые блюда для пожертвований. Мимо меня снуют девочки в первом румянце юности, держа в руках желтовато-коричневые футляры с флейтами и бледные нотные папки. Неловкость их так же прелестна, как поза купальщика, пробующего ногою морскую воду. Приходят и уходят мальчики с мамами. Доносящиеся со всех сторон звуки фортепьяно, гобоев, кларнетов напоминают об ином мире, где ангелы сбиваются, останавливаются и начинают снова. Я слушаю и вспоминаю, как учился музыке; насколько невозможно трудными кажутся первые движения пальцев и первая расшифровка этого неповтори-

мого языка, взваливающего на каждую ноту двойное значение позиции и долготы, — языка, столь же утонченного, как латынь, столь же лаконического как древнееврейский, и столь же поражающего глаз, как персидский или китайский. Какой таинственной кажется каллиграфия параллельных промежутков, закрученных ключей, начертанных сверху лиг и снизу декрещендо, точек, диезов и бемолей! Какой огромной кажется дистанция от первого неуверенного видения до спотыкающегося звучания первых нот! Видение робко обращается в звук, звук обращается в музыку, музыка обращается в чувство, чувство обращается в видение. Мало у кого из нас достанет силы духа пройти этот круг до конца. Я брал уроки годами, так ничему и не выучился и вчера вечером, глядя, как пальцы священника уверенно гарцуют по шейке гитары, чувствовал зависть и недоверие. Дочь только начинает фортепьяно. Это ее первые уроки, ей восемь лет, она полна желания и надежды. Когда мы едем за девять миль до города, где дают уроки, она тихонько сидит рядом со мной и тихонько сидит рядом со мной, когда мы возвращаемся домой в темноте. Она не выпрашивает ни конфет, ни Кока-Колы, — что на нее совсем непохоже, — как будто сам урок был гостинцем. Она лишь отмечает (равнодушным тоном, следуя рефлексу жадности, из которой она уже выросла), что витрины уже убраны к Рождеству. Мне ужасно нравится отвозить ее, нравится ждать ее, нравится везти ее домой сквозь таинственность ночи к определенности ужина. Я отвожу ее на машине, потому что жена сегодня идет к психиатру. Она ходит к психиатру, потому что я ей изменяю. Я не понимаю связи между этими вещами, но, кажется, связь между ними есть.

В романе, который я так и не написал, я хотел сделать героя программистом, поскольку не мог придумать более поэтического, романтического занятия, а герой мой должен был быть человеком донельзя романтическим и утонченным, ибо ему было суждено умереть от супружеской измены. То есть, я имею в виду умереть от сознания того, что измена возможна; возможность эта раздавила его. Я задумал его —

человека, чья профессиональная жизнь проходит в прибежище ночи (когда, как мне сообщили, компьютеры, которые днем приставлены к работе в промышленности, поскольку простой их обходится слишком дорого, вольны, так сказать, резвиться и быть любимыми), когда он изобретает языки, чтобы задачи можно было запустить в машины, откуда они выходили бы под биномиальный ритм, как музыка истины, — я задумал его человеком слишком утонченным, прозрачным и щепетильным, чтобы жить в наш грубоватый век. Если употребить биологическую метафору, он должен был быть абортированным плодом эволюции, раздавленным стопою динозавра мутантом-млекопитающим, а если взять метафору математическую, он был бы гипотетическим предельным числом, на одну цифру больше последнего действительного числа. Книга должна была называться „N + 1". Первое предложение в ней начиналось так: *Когда "Эхо" проходило над головой, он поглаживал бок Мэгги Джонс сквозь расписанное крупными цветами платье.* "Эхо" — это искусственная звезда, первенец, чудо. Пирующие на лужайке пары смотрят на него, задрав головы, а эти двое ласкают друг друга. Она берет его свободную руку, поднимает к своим губам, жарко дышит на нее и целует костяшки его пальцев. *Казалось, его остановившееся тело впитало в себя непомерное, неспешное вращение земли, а крепкая белая звездочка, только что заброшенная в космос, невозмутимо пробиралась среди более старых световых точек, выглядящих в сравнении с ней тусклыми и крошащимися.* От этого приглушенного момента под зловещими небесами технических чудес сюжет катился более или менее по нисходящей, обращаясь в историю любви, виновности и нервного срыва, к физиологическим осложнениям (мне надо было подчитать на эту тему), которые убьют героя так же неслышно, как стирается ошибка с доски. В книге должен был быть сам герой, его жена, его возлюбленная и его врач. В конце жена выходит за врача, а Мэгги Джонс спокойно продолжает свой путь сквозь сравнительно тусклый.... Остановите меня.

Моему психиатру хочется знать, отчего это меня тянет унижать себя. Полагаю, это привычка к исповеди. В юности я ходил в деревенскую церковь, где все мы, бывало, исповедовались каждые два месяца. Мы становились на колени на голом полу и укладывали требники на сиденья церковных скамей. Это была серьезная, долгая служба, начинавшаяся словами: *Возлюбленные во Господе! Приступим с чистым сердцем и исповедаем грехи наши пред Богом, Отцом нашим...* В шуме, производимом неуклюжими толстыми тевтонскими телами, с кряхтением и ворчанием устраивавшимися на коленях, слышалось нечто вроде музыкального сопровождения. Мы читали вслух: *Но испытав себя таким образом, мы не отыщем в себе ничего, кроме греха и погибели, от коих нет нам освобождения.* По окончании исповеди мы подымались и подводились скамья за скамьей к ограде алтаря, где молодой священник, брюнет с миниатюрными бледными ручками, кормил нас облатками, бормоча: *Примите, ядите: сие есть истинное тело Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, преданного смерти за наши грехи.* Ограда алтаря была сделана из лакированного дерева и окружала его с трех сторон, так что, стоя во весь рост (как ни странно, тут мы не становились на колени), можно было видеть, нельзя было не видеть лица других причастников. Мы составляли видавшую виды, уютную группу прихожан. В своей воскресной одежде мы были застенчивы, и лица, которые я видел, держа во рту вафельку, были напряжены. Глаза их над сжатыми губами глядели водянисто, как будто молили о вызволении из омута этой тайны. И явно кажется, в воспоминаниях, которые накатывают с такой резкостью, что у меня начинает выделяться слюна, будто надо было если не сжевать вафельку, то по крайней мере дотронуться до нее, обнять ее зубами и придать ей временную форму.

Расходились мы освеженными. *Благодарим Тебя, Всемогущий Боже, за то, что Ты ниспослал нам сей целительный дар.* В церкви пахло так же, как в этой школе, она тоже поблескивала странными шепотками и световыми бликами по полировке. Я не музыкален и не религиозен. В каждую минуту

своей жизни я должен раздумывать, куда поместить пальцы и нажать, безо всякой уверенности, что прозвучит аккорд. Друзья мои похожи на меня. Все мы пилигримы, неуверенно бредущие к разводу. Некоторые добираются лишь до взаимной исповеди, которая превращается в пагубную страсть и доводит их до изнурения. Иные идут дальше и доходят до неистовых свар и настоящего мордобоя; эти делаются невольниками половой истомы. Иные добредают до психиатра. Совсем немногие достигают адвоката. Вчера вечером, когда тот священник сидел в кругу моих друзей, вошла, не постучав, женщина. Она пришла от авдокатов, и глаза ее и волосы были разметаны страданием, как будто она явилась с бури. Она увидала нашего гостя в его темном одеянии, удивилась или, быть может, застыдилась, и сделала два шажка назад. Однако затем, в наступившей тишине, к ней возвратилось самообладание, и она уселась промеж нас. И в этой грациозной ноте (два шажка назад и потом снова движение вперед) прозвучало назревание коды.

Мир — это облатка, его надо прожевывать. Мне покойно здесь в школе. Дочь выходит с урока. Полное лицо ее излучает довольство, она кусает нижнюю губу и счастливо улыбается, и улыбка ее прошивает мне сердце, и я умираю (думаю, что умираю) у ее ног.

Перевод Владимира Козловского

ВОСПОМИНАНИЯ

Л. Е. Белозерская

Л. Е. Белозерская

ВОСПОМИНАНИЯ О М. А. БУЛГАКОВЕ

Мы живем в покосившемся флигельке во дворе дома № 9 по Обухову, ныне Чистому переулку. На соседнем № 7 сейчас красуется мемориальная доска: „Выдающийся русский композитор Сергей Иванович Танеев и видный ученый и общественный деятель Владимир Иванович Танеев в этом доме жили и работали". До чего же невзрачные жилища выбирали себе знаменитые люди!

Дом свой мы зовем „голубятней". Это наш первый совместный очаг. Голубятне повезло: здесь написана пьеса *Дни Турбиных,* фантастические повести *Роковые яйца* и *Собачье сердце* (кстати, посвященное мне). Но все это будет позже, а пока Михаил Афанасьевич работает фельетонистом в газете *Гудок.* Он берет мой маленький чемодан, по прозванью „щенок" (мы любим прозвища) и уходит в редакцию. Домой в „щенке" приносит он читательские письма — частных лиц и рабкоров. Часто вечером мы их читаем вслух и отбираем наиболее интересные для фельетона. Невольно вспоминается один из случайных сюжетов. Как-то на строительстве понадобилась для забивки свай копровая баба. Требование направили в главную организацию, а оттуда — на удивление всем — в распоряжение старшего инженера прислали жену рабочего Капрова. Это вместо копровой-то бабы!

Целая плеяда писателей вышла из стен *Гудка* (уж такая ему удача!). Там работали Михаил Булгаков, Юрий Олеша — тогда еще только фельетонист в стихах на злобу дня „Зубило" — Валентин Катаев и позже брат его Евгений Петров... Трогательно вспоминает это время Олеша: „Одно из самых дорогих для меня воспоминаний моей жизни — это моя работа в *Гудке.* Тут соединилось все: и моя молодость, и молодость моей советской Родины, и молодость нашей прессы, нашей журналистики..."

Значительно позже, на каком-то празднестве *Гудка*

Юрий Олеша прочел свою эпиграмму, посвященную Михаилу Булгакову:

Тогда, со всеми одинаков,
Пером заржавленным звеня,
Был обработчиком Булгаков,
Что стал сегодня злобой дня...

Писал Михаил Афанасьевич быстро, как-то залпом. Вот что он сам рассказывает по этому поводу: „...сочинение фельетона строк в семьдесят пять — сто отнимало у меня, включая сюда и курение и посвистывание, от восемнадцати до двадцати минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихиканье с машинисткой, — восемь минут. Словом, в полчаса все заканчивалось" *(Советские писатели,* т. 3, стр. 94).

Недавно я перечитала более ста фельетонов Булгакова, напечатанных в *Гудке.* Подписывался он по-разному: иногда полным именем и фамилией, иногда просто одной буквой М или именем Михаил, иной раз инициалами или: Эм., Эмма Б., Эм. Бе., М. Олл-Райт и пр. Несмотря на разные псевдонимы, узнать его „почерк" все же можно. Как бы сам Булгаков ни подсмеивался над своей работой фельетониста, она в его творчестве сыграла известную роль, сослужив службу трамплина для перехода к серьезной писательской деятельности. Сюжетная хватка, легкость диалога, выдумка, юмор — все тут.

На предыдущей странице я сказала, что мы любили прозвища. Как-то М. А. вспомнил детское стихотворение, в котором говорилось, что у хитрой злой орангутанихи было три сына: Мика, Мака и Микуха. И добавил: Мака — это я. Удивительнее всего, что это прозвище — с его же легкой руки — очень быстро привилось. Уже никто из друзей не называл его иначе, а самый близкий его друг Коля Лямин говорил ласково „Макин". Сам М. А. часто подписывался Мак или Мака. Я тоже иногда буду называть его так.

Мы живем на втором этаже. Весь верх разделен на три отсека: два по фасаду, один в стороне. Посередине коридор,

в углу коридора — плита. На ней готовят, она же обогревает нашу комнату. В одной комнатушке живет Анна Александровна, пожилая, когда-то красивая женщина. В браке титулованная, девичья фамилия ее старинная, воспетая Пушкиным. Она вдова. Это совершенно выбитое из колеи, беспомощное существо, к тому же страдающее астмой. Она живет с дочкой: двоих мальчиков разобрали добрые люди. В другой клетушке обитает простая женщина, Марья Власьевна. Она торгует кофе и пирожками на Сухаревке. Обе женщины люто ненавидят друг друга. Мы — буфер между двумя враждующими государствами. Утром, пока Марья Власьевна водружает на шею сложное металлическое сооружение (чтобы не остывали кофе и пирожки), из отсека А.А. слышится не без трагической интонации:

— У меня опять пропала серебряная ложка!

— А ты клади на место, вот ничего пропадать и не будет, — уже на ходу басом говорит М. В.

Мы молчим. Я жалею Анна Александровну, но люблю больше Марью Власьевну. Она умнее и сердечнее. Потом мне нравится, что у нее под руками все спорится. Иногда дочь ее Татьяна, живущая поблизости, подкидывает своего четырехлетнего сына Витьку. Бабка обожает этого довольно противного мальчишку. М. А. любит детей и умеет с ними ладить, особенно с мальчиками. Здесь стоит вспомнить маленькую новеллу „Псалом" *(Накануне,* 22 сентября 1923). Когда плаксивые вопли Витьки чересчур надоедают, мы берем его к себе в комнату и сажаем на ножную скамеечку. Здесь я обычно пасую, и Витька переходит целиком на руки М. А., который показывает ему фокусы. Как сейчас слышу его голос: „Вот коробочка не столе. Вот коробочка перед тобой... Раз! Два! Три! Где коробочка?"

Вспоминаю начало булгаковского наброска с натуры:

Вечер. Кран: кап... кап... кап...

Витька (скулит). Марья Власьевна...

Марья Власьевна. Сейчас, сейчас, батюшка. Сейчас иду, Иисус Христос...

Ее дочь Татьяна — русская красавица. Русоволосая, синеглазая, статная. Героиня кольцовских стихов и гумилевских песен. М. А. говорит, что на нее приятно смотреть.

Под нами обитает молодой милиционер. Изредка он поколачивает свою жену — „учит", по выражению Марьи Власьевны — и тогда она ложится в сенях и плачет. Я было сунулась к ней с утешениями, но М. А. сказал: „Вот и влетит тебе, Любаша. Ни одно доброе дело не остается ненаказанным". Хитрый взгляд голубых глаз в мою сторону и добавление: „Как говорят англичане".

Наши частые гости — Николай Николаевич Лямин и его жена, художница Наталья Абрамовна Ушакова. На протяжении всех восьми с лишним лет моего замужества за М. А. эти двое были наиболее близкими друзьями. Я еще не раз вернусь к их именам.

Бывал у нас нередко и киевский приятель М. А., друг булгаковской семьи, хирург Николай Леонидович Глодыревский. Он работал в клинике профессора Мартынова и, возвращаясь к себе, по пути заходил к нам. М. А. всегда с удовольствием беседовал с ним. Вспоминаю, что описывая в повести *Собачье сердце* операцию, М. А. за некоторыми хирургическими уточнениями обращался к нему. Он же, Глодыревский, показал Маку профессору Алексею Васильевичу Мартынову, а тот положил его к себе в клинику и сделал операцию по поводу аппендицита. Все это было решено очень быстро.

Мне разрешили пройти к М. А. сразу же после операции. Он был такой жалкий, такой взмокший цыпленок... Потом я носила ему еду, но он был все время раздражен, потому что голоден: в смысле пищи его ограничивали. Это не то, что теперь — котлету дают чуть ли не на второй день после операции. В эти же дни вышла детская книжка Софьи Федорченко. Там было сказано о тигре: „Всегда не сытый, на весь мир сердитый". В точности мой Мака...

Позже, зимой, Глодыревский возил нас к проф. Мартынову на музыкальный вечер. К стыду своему, не помню —

был ли это квартет или трио в исполнении самих врачей.

Не знаю, каким врачом был М. А., „лекарь с отличием", как он называет себя в своей автобиографии, но профессия врача, не говоря уже о более глубоком воздействии, очень помогала ему в описаниях, связанных с медициной. Вот главы „Цветной завиток" и „Персиков поймал" *(Роковые яйца,* изд. "Недра", М. 1925, стр. 48-56). Профессор Персиков работает в лаборатории, и руки его необыкновенно умело обращаются с микроскопом. Это получается от того, что руки самого автора *умеют* по-настоящему обращаться с микроскопом. И так же в сцене операции *(Собачье сердце)* автор *знает* и автор *умеет.* Кстати, читатель всегда чувствует и ценит эту осведомленность писателя.

Проблеме творческого гения человека, могуществу познания, торжеству интеллекта — вот чему посвящены залпом написанные фантастические повести *Роковые яйца* (1924 г., октябрь) и *Собачье сердце* (1925 г.), а позже пьеса *Адам и Ева* (1931).

В первой повести — представитель науки зоолог профессор Персиков открывает неведомый до него луч, стимулирующий размножение, рост и необыкновенную жизнестойкость живых организмов.

„Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное, — заявляет ученому его ассистент... — Профессор Персиков, вы открыли луч жизни! Владимир Ипатьевич, герои Уэллса по сравнению с вами просто вздор" *(Роковые яйца,* стр. 56-57).

И не вина Персикова, что по ошибке невежд и бюрократов произошла катастрофа, повлекшая за собой неисчислимое количество жертв, гибель изобретения и самого изобретателя.

Описывая наружность и некоторые повадки профессора Персикова, М. А. отталкивался от образа живого человека, родственника моего, Евгения Никитича Тарновского, о котором я написала в главе 1-й. Он тоже был профессором, но в области далекой от зоологии: он был статистик-криминалист. Что касается его общей эрудиции, она была необыкновенна и,

конечно, не могла не произвести впечатления на такого жадно воспринимавшего все, творчески любознательного человека, каким был М. А.

Ученый в повести *Собачье сердце* — профессор-хирург Филипп Филиппович Преображенский, прообразом которому послужил дядя М. А., Николай Михайлович Покровский, родной брат матери писателя, Варвары Михайловны, так трогательно названной „Светлой королевой" в романе *Белая гвардия*.

Николай Михайлович Покровский, врач-гинеколог, в прошлом ассистент знаменитого профессора Снегирева, жил на углу Пречистенки и Обухова переулка, за несколько домов от нашей голубятни. Брат его, врач-терапевт, милейший Михаил Михайлович, холостяк, жил тут же. В этой же квартире нашли приют и две племянницы. Один из братьев М. А. (Николай) был тоже врачом.

Николай Покровский отличался вспыльчивым и непокладистым характером, что дало повод пошутить одной из племянниц: „На дядю Колю не угодишь, он говорит: не смей рожать и не смей делать аборт". Оба брата Покровских пользовали всех своих многочисленных родственниц.

На́ Николу зимнего все собирались за именинным столом, где, по выражению М. А., „восседал как некий бог Саваоф" са́м именинник. Жена его, Мария Силовна, ставила на стол пироги. В одном из них запекался серебряный гривенник. Нашедший его считался особо удачливым, и за его здоровье пили. Бог Саваоф любил рассказать незамысловатый анекдот, исказив его до неузнаваемости, чем вызывал смех молодой веселой компании.

Так и не узнал до самой смерти Николай Михайлович Покровский, что послужил прообразом гениального хирурга Филиппа Филипповича Преображенского, превратившего собаку в человека, сделав ей операцию на головном мозге. Но ученый ошибся: он не учел законов наследственности и, пересаживая собаке гипофиз умершего человека, привил ей все

пороки покойного: склонность ко лжи, к воровству, грубость, алкоголизм, потенциальную склонность к убийству. Из хорошего пса получился дрянной человек! И тогда хирург решается превратить созданного им человека опять в собаку. Сцену операции — операции труднейшей за всю его практику, по заявлению самого Преображенского, — нельзя читать без волнения.

Третий гениальный изобретатель — профессор химии, академик Ефросимов в фантастической пьесе *Адам и Ева.* Позже я более подробно остановлюсь на этом произведении М. А.

Напечатав *Роковые яйца* в издательстве "Недра", главный его редактор Николай Семенович Ангарский (Хлестов) хотел напечатать и *Собачье сердце.* Я не знаю, какие инстанции, кроме внутренних редакционных, проходила эта повесть, но время шло, а с опубликованием ее ничего не выходило. Как-то на голубятне появился Ангарский и рассказал, что он много хлопочет в высоких инстанциях о напечатании *Собачьего сердца,* да вот что-то не получается. Мы очень оценили эти слова: в них чувствовалась искренняя заинтересованность.

По правде говоря, я слегка побаивалась этого высокого человека с рыжей мефистофельской бородкой: уж очень много говорилось тогда о его нетерпимости и резком характере. Как-то, смеясь, М. А. рассказал анекдот о Н. С. Ангарском. В редакцию пришел автор с рукописью.

Н. С. ему еще издали:

— Героиня Нина? Не надо!..

Но вот после одного вечера, когда собрались сотрудники редакции (помню Бориса Леонтьевича Леонтьева, Наталью Павловну Витман и милого человека, секретаря редакции, Петра Никаноровича Зайцева), мне довелось поговорить с Ангарским о литературе и по немногим его словам я поняла, как он знает ее и любит *настоящей* — не коньюнктурной — любовью. С этого вечера я перестала его побаиваться и по сию пору с благодарностью вспоминаю его расположение к М. А., которое можно

объяснить все той же любовью к русской литературе.

Как-то Н. С., его жена, очень симпатичная женщина-врач и трое детей на большой открытой машине заехали за нами, чтобы направиться в лес за грибами. Приехали в лес близ Звенигорода. Дети с корзинкой побежали на опушку и вернулись с маслятами. Н. С. сказал: „Это не грибы!" и все выкинул к великому разочарованию ребят. Надо было видеть их вытянутые мордочки! Мы украдкой переглянулись с М. А. и оба вспомнили „героиню Нину" и много раз потом вспоминали крутой нрав Николая Семеновича, проявлявшийся, надо думать, не в одних грибах... Погиб он, как я слышала, в сталинское лихолетье.

Приблизительно в то же время мы познакомились с Викентием Викентьевичем Вересаевым. Он тоже очень доброжелательно относился к Булгакову. И если направленность их творчества была совершенно различна, то общность переживаний, связанных с их первоначальной профессией врача, не могла не роднить их. Стоит только прочесть *Записки врача* Вересаева и *Рассказы юного врача* Булгакова.

Мы бывали у Вересаевых не раз. Я прекрасно помню его жену Марию Гермогеновну, которая умела улыбаться как-то особенно светло. Вспоминается длинный стол. Среди гостей бросается в глаза красивая седая голова и контрастно черные брови известного пушкиниста профессора Мстислава Александровича Цявловского, рядом с которым сидит, прильнувши к его плечу, женственная жена его, Татьяна Григорьевна Зенгер, тоже пушкинистка. Помню, как Викентий Викентьевич сказал: „Стоит только взглянуть на портрет Дантеса, как сразу станет ясно, что это внешность настоящего дегенерата!"

Я было открыла рот, чтобы, справедливости ради, сказать вслух, что Дантес очень красив, как под суровым взглядом М. А. прикусила язык.

Мне нравился Вересаев. Было что-то добротное во всем его облике старого врача и революционера. И если впоследствии между ними пробежала черная кошка (пьеса *Последние*

дни), то об этом можно только пожалеть...

Время шло, и над повестью *Собачье сердце* сгущались тучи, о которых мы и не подозревали.

„В один прекрасный вечер", — так начинаются все рассказы, — в один непрекрасный вечер на голубятню постучали (звонка у нас не было) и на мой вопрос „кто там?" бодрый голос арендатора ответил: „Это я, гостей к вам привел!"

На пороге стояли двое штатских: человек в пенсне и просто невысокого роста человек — следователь Славкин и его помощник с обыском. Арендатор пришел в качестве понятого. Булгакова не было дома, и я забеспокоилась: как-то примет он приход "гостей", и попросила не приступать к обыску без хозяина, который вот-вот должен придти.

Все прошли в комнату и сели. Арендатор развалясь на кресле, в центре. Личность это была примечательная, на язык несдержанная, особенно после рюмки-другой... Молчание. Но длилось оно, к сожалению, недолго.

— А вы не слыхали анекдота, — начал арендатор...

("Пронеси, господи!" — подумала я.)

— Стоит еврей на Лубянской площади, а прохожий его спрашивает: "Не знаете ли вы, где тут Госстрах?"

— Госстрах не знаю, а Госужас вот...

Раскатисто смеется сам рассказчик. Я бледно улыбаюсь. Славкин и его помощник безмолвствуют. Опять молчание — и вдруг знакомый стук.

Я бросилась открывать и сказала шопотом М. А.:

— Ты не волнуйся, Мака, у нас обыск.

Но он держался молодцом (дергаться он начал значительно позже). Славкин занялся книжными полками. "Пенсне" стало переворачивать кресла и колоть их длинной спицей.

И тут случилось неожиданное. М. А. сказал:

— Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю. (Кресла были куплены мной на складе бесхозной мебели по 3 р. 50 коп. за штуку.)

И на нас обоих напал смех. Может быть, и нервный.

Под утро зевающий арендатор спросил:

— А почему бы вам, товарищи, не перенести ваши операции на дневные часы?

Ему никто не ответил... Найдя на полке *Собачье сердце* и дневниковые записи, "гости" тотчас же уехали.

По настоянию Горького, приблизительно через два года *Собачье сердце* было возвращено автору...

Однажды на голубятне появились двое — оба высокие, очень разные. Один из них молодой, другой значительно старше. У молодого брюнета были темные "дремучие" глаза, острые черты и высокомерное выражение лица. Держался он сутуловато (так обычно держатся слабогрудые, склонные к туберкулезу люди). Трудно было определить его национальность: грузин, еврей, румын — а, может быть, венгр? Второй был одет в мундир тогдашних лет — в толстовку — и походил на умного инженера.

Оба оказались из Вахтанговского театра. Помоложе — актер Василий Васильевич Куза (впоследствии погибший в бомбежку в первые дни войны); постарше — режиссер Алексей Дмитриевич Попов. Они предложили М. А. написать комедию для театра.

Позже, просматривая как-то отдел происшествий в вечерней *Красной газете* (тогда существовал таковой), М. А. натолкнулся на заметку о том, как милиция раскрыла карточный притон, действующий под видом пошивочной мастерской в квартире некоей Зои Буяльской. Так возникла отправная идея комедии *Зойкина квартира.* Все остальное в пьесе — интрига, типы, ситуация — чистая фантазия автора, в которой с большим блеском проявились его талант и органическое чувство сцены. Пьеса была поставлена режиссером Алексеем Поповым 28 октября 1926 года.

Декорации писал недавно умерший художник Сергей Петрович Исаков. Надо отдать справедливость актерам — играли они с большим подъемом. На фоне положительных персонажей, которыми была перенасыщена советская сцена

тех лет, играть отрицательных было очень увлекательно (у порока, как известно, больше сценических красок!). Отрицательными здесь были все: Зойка, деловая, разбитная хозяйка квартиры, под маркой швейной мастерской открывшая дом свиданий (Ц. Л. Мансурова), кузен ее Аметистов, обаятельный авантюрист и веселый человек, случайно прибившийся к легкому Зойкиному хлебу (Рубен Симонов). Он будто с трамплина взлетал и садился верхом на пианино, выдумывал целый каскад трюков, смешивших публику; дворянин Обольянинов, Зойкин возлюбленный, белая ворона среди нэпманской накипи, но безнадежно увязший в этой порочной среде (А. Козловский); председатель домкома Аллилуйя, "Око недреманное", пьяница и взяточник (Б. Захава).

Хороши были китайцы из соседней прачечной (Толчанов и Горюнов), убившие и ограбившие богатого нэпмана Гуся. Не отставала от них в выразительности и горничная (В. Попова), простонародный говорок которой как нельзя лучше подходил к этому образу. Коенчно, всех их в финале разоблачают представители МУРа.

Вот уж подлинно можно сказать, что в этой пьесе "голубых" ролей не было! Она пользовалась большим успехом и шла два с лишним года. Положив руку на сердце, не могу понять, в чем ее криминал, почему ее запретили.

Вспоминается кроме актерской игры необыкновенно удачно воссозданный городской шум, врывающийся в широко раскрытое окно квартиры, а попутно на память приходит и небольшой слегка комический штрих.

Несколько первых публичных репетиций Мансурова играла почти без грима, но затем режиссер Попов потребовал изменить ее внешность. Был налеплен нос (к немалому огорчению актрисы). Хоть это и звучит смешно, но нос "уточкой" как-то углубил комедийность образа. Повидимому, такого результата и добивался режиссер. „Думая сейчас о том, почему спектакль подвергся такой жестокой критике, — пишет в своей книге *Вся жизнь* (Всероссийское театральное общество, М. 1967, стр. 426), режиссер и актриса МХАТ, М. Кнебель, — я

прихожу к убеждению, что одной из причин этого был сам жанр, вернее — непривычность его". Это один ее довод, а вот второй: актриса Вахтанговского театра А. А. Орочко своей игрой переключила отрицательный образ (Алла) на положительное звучание. И сделала это так выразительно, что способствовала будто бы этим снятию пьесы. Это, конечно, неверно. Я, например, да и многие мои друзья, Орочко в этой роли вообще не помним. Впоследствии А. Д. Попов от своей постановки *Зойкиной квартиры* отрекся. — "Отречение" режиссера — дань времени, — говорит М. Кнебель. Она не договаривает: дань времени — это остракизм, пока еще не полный, которому подвергнется творчество Михаила Булгакова.

АРХИВ

Владислав Феліксовичъ Ходасевичъ
Кадетъ 1-го Кадетскаго корпуса
Юнкеръ Алексѣевскаго училища
Начальникъ Мерзляковскаго училища
фот. А.Д. ШЕРШОВЪ
МОСКВА.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ВЛАДИСЛАВА ХОДАСЕВИЧА
(1921-1922) [1]

У поэта язык, система образов, выбор эпитетов, ритм, характер рифм, инструментовка стиха, — словом, все, что зовется манерой и стилем, — есть выражение духовной его личности. Изменение стиля свидетельствует о глубоких душевных изменениях, причем степень перемены в стиле прямо пропорциональна степени перемены внутренней. Поэтому внезапный переход от классицизма к футуризму означал бы внутреннее потрясение прямо-таки катастрофическое, какого, конечно, человек вынести не в силах. Однако, № 1, № 2, № 3 и т. д. — вынесли и благополучно здравствуют как ни в чем не бывало. Что это значит? Только то, что они никогда не были ни классиками, ни футуристами, — ничем. На пресловутом „пароходе"[2] футуризма они едут такими же зайцами, какими были на парусных кораблях классицизма.

* * *

Поэтическое творчество — чудо и тайна. Однако, N задает ученикам своим „к след/ующему/ разу" написать по стихотворению таким-то и таким-то размером. Какой ужас! Практические занятия по чудотворчеству! Генеральные репетиции литургии!.. Ну, учитель состарился и изверился. Но чего смотрят ученики?

* * *

Z призывал лет 20: „Ей, гряди, Революция!" Накликал — и испугался: нельзя ли назад? Совсем, как у Гете — ученик мага:

Стань у печи,
Веник, снова,

Слушай слово
Мудрой речи...

А веник не слушает, а вода прибывает и уже дошла бедному Z до подмышек.

* * *

Шепотком:

В 1915: „Знаете, Распутин с царицей сидят в бане, и оттуда посылают радиотелеграммы в Берлин. А Николай в это время"... и проч.

В 1917: „Знаете, Керенский перевез Т.[3] в Зимний Дворец и купается с ней в мраморной ванне"... и проч.

В 1919: „Знаете, Ленину явился во сне Гермоген"... и т. д.

Что это значит? Что идея монархии изжита, а холуйство — нет.

* * *

Я могу говорить с Z о литературе. Но играть с ним в карты — слуга покорный: тут я хочу иметь дело с порядочными людьми.

* * *

Рисунки Гоголя к последней сцене *Ревизора* сделаны, конечно, под влиянием Флаксмана (или Ф. Толстого, если его рисунки к *Душеньке* старше гоголевского наброска). Это — Олимп. Левая рука городничего (по отнош/ению/ к жандарму) играет роль фигового листа. Итак — это *пародия.* Персонажи *Ревизора* — внизу, боги — вверху. Опять-таки здесь отразилась основная мысль Гоголя: „Как пошлость провинциального городишки возвысить" и проч. („Земные боги", Высокое в низком)... [Поискать у Фл/аксмана/ и Т/олстого/, нет ли *прямого* прототипа рисунка.] [Пародия — изображение низкого, обыденного — чертами, заимствован-

ными из изображения предмета высокого и чудесного.] [Стиль несомненен, поискать соответствий в композиции.] [Центр — сердце /1 нрзб./] (Кстати, не крестится ли вольнодумец-судья? „И все пред Бога притекут, обезображенные страхом.")

* * *

Позор /?/

Тредьяковский
Рылеев
Пушкин
Лермонтов
Радищев
Мельшин /?/
Достоевский
В. Одоевский
Кюхельбекер
Бальмонт
Горький
Даже Чулковы и Эренбурги.
А сколько еще?
Нет, это явление национальное...

Радищев
И. Я.
Бестужев
Герцен
Огарев
Полежаев
Леонид Семенов!
Боратынский
Л. Толстой
Новиков
Тургенев

Гоголь
Ростопчина
Лесков (Кадетский монастырь) : За сочинение чего бы то ни было в прозе — 15 розог, за стихи 25. Даже за „патриотические".
Успенский
Плещеев
Проклятие
Мицкевича
Добролюбов
Чернышевский
Помяловск/ий/
Некрасов
Полонский
Фофанов?

Златовратский, Суриков
Салт/ыков/-Щедрин

Княжнин Капнист
Новиков Писемский Островский

* * *

Ист/ория/ русск/ой/ поэзии (м.б., вообще лит/ерату/ры) есть история уничтожения рус/ских/ писателей. Кто-то (Горнфельд) мне говорил, что почти теми же словами писала об этом Роза Люксембург.

* * *

. . . . осуществила лишь первый, будучи бессильна осуществить 2й и 3й.[4] Революция русская осуществляет 2й, Равенство, временно зачеркивая 1й и 3й. (Диктатура одного класса). Итак, до братства человечество еще не доросло. Некогда будет осуществлено 3й Вел. Революцией, которая eo ipso восстановит и 1й и 2й лозунги. (Вяч. Иванов). 10 апр. 1921

* * *

Пушкин — творец автономных миров, теург. Он поэтому многосмыслен. Лермонтов тенденциозен и не теургичен. Из Лермонтова не вычеркнешь ничего, кроме Лермонтова (который велик, конечно). 1921, май.

* * *

Коммунизм — внутри нас.

1921, 20 мая

* * *

Обязательно написать автобиографию.

тоже.

* * *

В зарубежной печати русской — океан шутовства и пошлости. Там подвизаются Lolo и Аверченки. Им надо есть? Согласен. Но есть тысячи профессий, кроме шутовской...хуже, чем шутовской, ибо позорен не просто нищий уличный шут, а шут „культурный", „литературный". Еще позорнее — шут-эмигрант. Ведь „родина" для Аверченок „священна" и „гибнет". Какие же звуки в их „лире"? — Танго. — Гадко и подло.

1921, 25 мая

* * *

25 марта, когда хоронили убитых при взятии Кронштадта, палили из пушек. Обыватели радовались (в хвостах у лавок): — Пришла французская эскадра. — Как, по льду? Даже этого не смекнули.

Тоже.

* * *

Ангарский[5] говорил летом 1920 г., что мы вернемся не своей силой, а вражеской слабостью. Прав. Несчастие контрреволюции (или того, что так называется) в слабости физической и моральной: песок сыплется, *одряхлели, кончены.*

1921, 1. VI

* * *

Вопрос о роли личности в истории пора пересматривать, особенно этим должны заняться марксисты. Впрочем, Ленин умен, и, наверное, на сон грядущий уже почитывает Карлейля.

Тоже.

* * *

Плоть, мир окружающий: тьма и грубость. Дух, вечность: скука и холод. Что же мы любим? Грань их, смешение, узкую полоску, уже не плоть, еще не дух (или наоборот): т.е. — жизнь, трепет этого сочетания, сумерки, зори.

1921, 2 VI

* * *

Сегодня я поймал за хвост беса смирения. Доведенный уже до последнего, до предела, — вдруг подумал: а ведь мудрее и драгоценнее — смириться, быть покорным и благосклонным ко всем и всему. И сейчас же почувствовал, что это от бессонной ночи, целого дня беготни, от голода и тихого дож-

дичка за окном. Смирение слабого — бес. Смирение сильного — ангел.

8 июня 21.

* * *

Даже те, кто понимает и ценит мои стихи, жалеют об архаичности языка их. Это недальновидно. Мои стихи станут общим достоянием все равно только тогда, когда весь наш нынешний язык глубоко устареет, и разница между мной и Маяковским будет видна лишь тончайшему филологу. Боюсь, что и русский-то язык сделается тогда „мертвым", как латынь, — и я всегда буду „для немногих". И то, если меня откопают.

25.VI . 21

* * *

Слова прививаются необычайно быстро. Всякая оппозиция уже называется контр-революцией. Дьякон в Бельском Устье говорит, что Николай II удалил из армии Мих. Александровича, „как контр-революционера".

Устье, 9 сент. 21.

* * *

Тот же дьякон вздыхает:

— А за границей теперь пивцо попивают, колбасики разные кушают...

Он же:

— Благоприятнейшая девица Мария Сергеевна. Красоты неописуемой и не ест ничего: вот невеста!

Устье, 9 сент. 21.

* * *

Чудо-агитатор (где-то в деревне, около Бельского

Устья). Он говорил крестьянам три года тому назад: Товарищи! Бога выдумали буржуи, чтобы заставить вас сидеть смирно. Бога нет. Следственно — и проч.

Теперь он же говорит: Товарищи! Вы видите, какое кругом озверение: брат на брата, сын на отца. Разруха, бунты. Нет никакого смирения. Разве Бог потерпел бы это? Значит — Бога нет.

Можно сказать: „комсофист".

Б. У., 9 сент. 21.

* * *

Мастерство, ремесло — скорлупа, внешняя оболочка искусства, м.б. его формующая поверхность. В поэзии она тоньше, чем в других искусствах, нечто вроде слизистой оболочки, почти уже именно только „поверхность". Поэтому, касаясь ее, тотчас попадаем в живое, чувствительное тело самой поэзии. Вот еще почему невозможны поэтич/еские/ студии и почему, когда дело идет о поэзии, неприменима старая аналогия: в музыке — гаммы, в живописи — зарисовка и т. д. (Развить это).

Пд. 16/III22.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Александр Ивич (р. 1900) /псевдоним Игнатия Игнатьевича Ивич-Бернштейна/ — автор ряда беллетристических произведений и литературно-критических статей; в течение многих лет был известен как неутомимый поборник лучшего в литературе двадцатого столетия. Он был другом многих писателей трудной судьбы и сохранил для потомства немало важных текстов и документов. Среди последних — записная книжка Ходасевича, которую тот вел в последние полтора года перед эмиграцией из СССР в 1922 году.

Здесь публикуются одиннадцать страниц из этой записной книжки, фотокопии которых любезно предоставлены нам Игнатием Игнатьевичем. Первые восемь отрывков не датированы, но они предшествуют другим записям в книжке. Однако Ходасевич не всегда придерживался здесь строгого хронологического порядка, даже когда сам датировал записи.

В этой записной книжке Ходасевич зачастую прибегает к литературной обработке записей. Такая работа над стилем дает основания предполагать, что по крайней мере некоторые из этих наблюдений он готовил к возможной публикации.

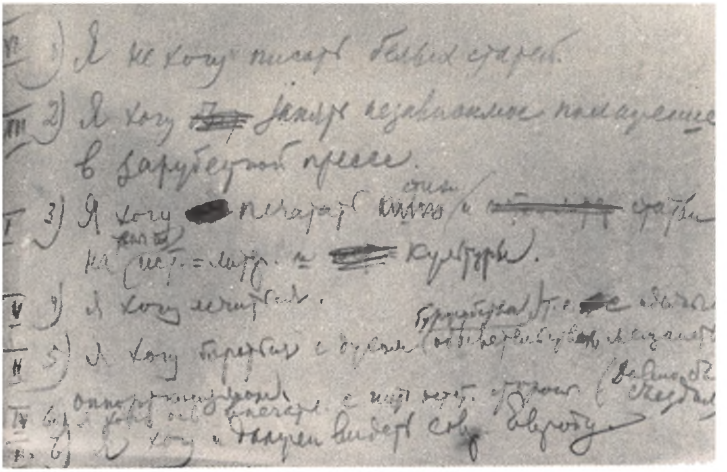
Мы не включили в текст публикации вычеркнутые слова, даже если они поддаются прочтению. Некоторые слова расшифровать не удается, что здесь и отмечено. Обрывки слов, не дописанных Ходасевичем, отмечены фигурными скобками.

2. Т.е. „пароход современности", с которого, по словам манифеста футуристов „Пощечина общественному вкусу", надо сбросить Пушкина.

3. Елизавета Ивановна Тиме (1884-ок. 1968) — актриса Александринского театра. Народная артистка РСФСР (1957).

4. Начало этой записи отсутствует в фотокопии, находящейся в нашем распоряжении, но, очевидно, здесь обсуждается лозунг французской революции: „Свобода, равенство, братство".

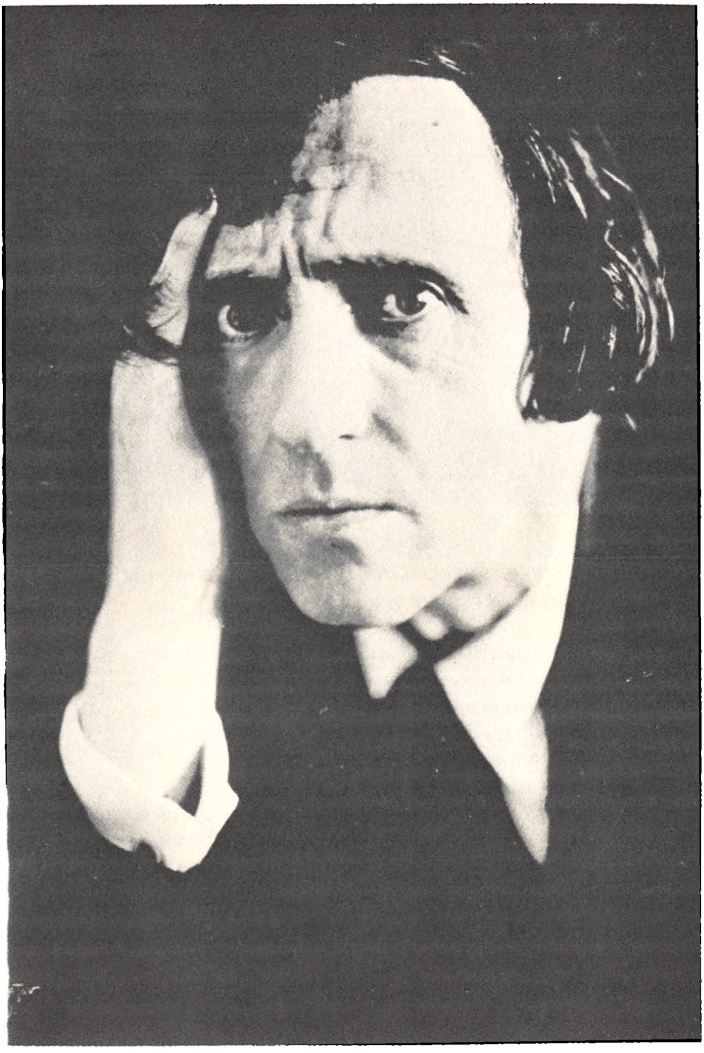
5. Николай Семенович Ангарский (Клестов), 1873-1943. Общественный деятель, критик, издатель. В издательстве „Зерно" выпустил книги Ленина (1907). Позже руководитель издательства „Недра", печатавшего повести Булгакова. См. выше, стр. 105-106.



План предстоящего разговора с Луначарским о выезде за границу. (На отдельном листке бумаги.)

VI 1) Я не хочу писать белых статей.
VII 2) Я хочу занять независимое положение
в зарубежной прессе.
I 3) Я хочу печатать стихи и статьи
на темы ист.-литер. и культуры.
V 4) Я хочу лечиться.
II 5) Я хочу бороться с духом буржуйства, т.е. с идейным
обывательством, мещанством, оппортунизмом.
IV 6) Я хочу осв/ежить/ впечатл/ения/ с чисто эстет/ической/
стороны. (давно бы съездил)
III 7) Я хочу и должен видеть совр/еменную/ Европу.

План написан рукой Ходасевича. Датируется, предположительно, весной 1922 года.



Евреинов в Нью-Йорке, 1926

Николай Евреинов

ПИСЬМО Н. И. БУТКОВСКОЙ

Нью-Йорк
22/V/1926

Дорогая моя Наталья Ильинична,
спасибо за поздравление с именинами, о дне которых Вы мне так сердечно напомнили! а то я позабыл о них в суматохе всяких дел и безделия.

Сердечно благодарю вас за Ваше милое письмо, на которое отвечаю с некоторым запозданием: дела, дела, им-же несть числа.

Вы спрашиваете о том, как мы поживаем в Америке. — Мы понемногу привыкаем к здешней необычной для нас жизни, столь непохожей на жизнь в Европе и в частности в СССР.

Наш день начинается с того, что мы смотрим с Анной в записную книжку, чтобы узнать, кому нам надо сегодня позвонить по телефону, с кем позавтракать, к кому мы приглашены на обед или на вечер, а с кем и просто деловое свидание между 5-ю и 7-ю часами. Приходит почта и две русских газеты. Начинается трудовой день, в течение которого надо все время быть очень напряженным, аккуратным, не выпуская из рук записной книжки в которой все адреса, телефоны и „аппоинтмены" (свидания).

Когда приходишь к занятым людям на деловое свидание надо сразу-же излагать свою мысль, ибо время здесь очень дорого. Другое дело деловые завтраки и обеды: — здесь можно поговорить по душе в особенности если собеседник говорит не только по-английски, но и по-французски или по-русски.

Американцы вобщем очень любезный народ и крайне гостеприимны. Это справедливо не только в отношении имущих классов, но и „простых" рабочих. — Нам как раз удалось на днях познакомиться с бытом одного рабочего, служащего на пуговичной фабрике. Вы его хорошо знаете, вернее не его, а его брата и вернее не его брата, а жену его брата — Марину

Киссин-Гравель. Он живет (этот брат Киссина) в собственном домике далеко за городом, где не видно больше небоскребов и сказочной иллюминации Нью-Йорка. Живет он, пользуясь такими удобствами, о которых у нас и не снилось. Уютное помещение в три комнаты, ванна со всегда готовой горячей водой, прекрасное радио (мы были „угощены" громадным концертом отборных знаменитостей) собственная машина и т. п. Мы невольно позавидовали с Анной как привольно живут здесь люди, абсолютно ничем невыдающиеся. О жизни-же богачей и говорить не приходится.

Принято думать, что в Америке можно „сделать много денег". Это правда, но, как сказал мне Морис Гест (знаменитый импрессарио), никто не знает как можно много денег потерять в Америке. Но для того чтоб потерять деньги на разных авантюрах, надо прежде всего их иметь. А нажить большие деньги в Америке совсем не так легко. Зато тот кто не лезет в авантюры имеет полный достаток, ибо в калькуляцию заработной платы входят не только необходимые нужды, но и удовольствия, а так-же потребность в сбережении.

Здесь, не будучи членом юниона, трудно защитить свои матерьяльные интересы. Это я хорошо понял когда был заключен контракт со мной дирекцией Театра Гилд, где шла моя пьеса. Я получил ровно половину того что мог бы получить. Теперь (не помню писал ли я Вам об этом) я выбран действительным членом (с правом голоса на выборах) Американского союза драматических писателей, имеющего огромное значение в Соед. Штатах. Мне было очень трудно, как иностранцу, попасть в этот юнион, но огромный успех моей пьесы в лучшем (художественном) американском театре обусловил исключение в мою пользу. Вице президент этого общества устроил торжественный обед в мою честь, на котором президент выразил мне свое восхищение и готовность пойти навстречу моим театральным замыслам.

Я очень рад своему избранию в члены этого юниона, хоть

и прекрасно знаю что в смысле устройства моих пьес не сцене это мало может помочь, т.к. решают все менеджеры, с которыми юнионы ведут борбу. Кстати сказать здешние менеджеры (директора театров) малокультурные в артистическом смысле люди, для которых вкус мелко буржуазной публики является решающим в деле принятия к постановке пьесы. Впрочем не буду Вам писать о театральной Америке, т.к. только что получил официальное приглашение из Ленинграда от редакции „Жизни искусства" посылать статьи, освещающие американское театральное искусство. Я ответил согласием и потому надеюсь что в не далеком будущем Вы прочтете об этом на страницах названного журнала.

Напишу Вам лучше о разных разностях, характерных для здешней культуры.

Здесь вовсе нет блох, ни у людей, ни даже у собак. Я считаю это огромным „завоеванием". А о клопах здесь знают только из учебников по естественной истории, да из иностранных газет.

Здесь изумительные фрукты, т. е. усовершенствованные. Среди них на первом месте надо поставить грэп-фрут — помесь лимона с апельсином, величиной в маленькую дыню.

Ананасы здесь стоят столько сколько стоят два яблока. А яблоков здесь невероятно много.

У нас автоматический телефон: не надо никого вызывать со станции, а просто крутишь себе номера на колесике и тебе сразу же отвечает вызванный тобою абонент. — это очень удобно для нас, еще плохо произносящих особенно по телефону английские слова.

В дачных местностях, на берегу моря, люди ходят целый день в купальных костюмах. В таком виде заходят в кафе, рестораны повсюду. Вид дачных местностей здесь умилителен после Нью-Йорка с его Бродвеем, главной улицей тянущейся около сорока верст. На Бродвее вечером такая ослепительная иллюминация реклам, какую не может представить себе даже пылкое воображение парижан. Некоторые магазины и учреждения открыты всю ночь, так что в три-четыре часа ночи вы

можете зайти в парикмахерскую, побриться, завиться, потом пойти купить себе костюм, заложить его в ломбарде и внести полученные деньги в банк.

Здесь запрещены спиртные напитки, но мы нигде так часто не пьянствовали, как в Нью-Йорке.

Что еще Вам рассказать. Здесь так много нового для европейцев, что всего и не перескажешь, а пока будешь пересказывать появится вновь новое. Последняя новость здесь — передача фотографии и рисунков по радио. Даже был такой случай: один американец подписал в Лондоне чек на Нью-Йоркский банк, подпись была сфотографирована по радио и передана в Нью-Йорк и его приятель моментально получил по этому чеку деньги в Нью-Йорке.

Ну вот и все пока. До следующего раза. Пишите нам о Ваших новостях. . . .

Любящий Вас Н. Евреинов

М. А. Булгаков

ПИСЬМО П. С. ПОПОВУ

Москва, 28 апреля 1934 года.
Москва 19, Нащокинский 3, кв. 44.

Дорогой Павел!

Полагаю, что письмо еще застанет тебя в Ясной Поляне. Можешь еще одну главу прибавить — 9-ю под заглавием: о том, как из *Блаженства* ни черта не вышло.

25-го числа читал труппе Сатиры пьесу. Очень понравился всем первый акт и последний, но сцены в Блаженстве не приняли никак. Все единодушно вцепились и влюбились в Ивана Грозного. Очевидно, я что-то совсем не то сочинил. Теперь у меня большая забота. Думал сплавить пьесу с плеч и сейчас же приступить к *Мертвым душам* для кино. А теперь вопрос осложнился.

Я чувствую себя отвратительно в смысле здоровья. Переутомлен окончательно. К первому августа во что бы то ни стало надо ликвидировать всякую работу и сделать антракт до конца сентября, иначе совершенно ясно, что следующий сезон я уже не буду в состоянии тянуть.

Я подал прошение о разрешении мне заграничной поездки на август-сентябрь. Давно мне уже грезилась Средиземная волна и парижские музеи и тихий отель и никаких знакомых и фонтан Мольера и кофе и, словом, возможность все это видеть. Давно уж с Люсей разговаривал о том, какое путешествие можно было бы написать! И вспомнил незабвенный Фрегат Палладу, и как Григорович вкатился в Париж лет восемьдесят назад! Ах, если б осуществилось! Тогда уж готовь новую главу — самую интересную.

Видал одного литератора, как-то побывавшего заграницей. На голове был берет с коротеньким хвостиком. Ничего, кроме хвостика, не вывез! Впечатление такое, как будто он проспал месяца два, затем этот берет купил и приехал.

Ни строчки, ни фразы, ни мысли! О, незабвенный Гончаров! Где ты?

Очень прошу тебя никому пока об этом не говорить, решительно никому. Таинственности здесь нет никакой, но просто хочу себя оградить от дикой трескотни московских кумушек и кумовьев. Я не могу больше слышать о том, как треплют мою фамилию и обсуждают мои дела, которые решительно никого не касаются. На днях ворвалась одна особа, так она уж ушла, а мы с Люсей полчаса еще ее ругали. Она уж может быть у Мясницких ворот была и икала. Она спрашивала, сколько мы зарабатываем и рассказывала, сколько другие зарабатывают. Один, по ее словам, пятьсот тысяч в месяц. И что мы пьем и едим. И прочее. Чума! Народное бедствие! Никто мне не причинил столько неприятностей, сколько эти московские красавицы с их чертовым враньем! Просто не хочу, чтобы трепался такой важный вопрос, который для меня вопрос всего будущего, хотя бы и короткого, хотя бы уже и на вечере моей жизни! Итак, по-серьезному сообщаю пока об этом только тебе. И, заметь, что и Коле я не говорил об этом и говорить не буду.

Ах, какие письма, Павел, я тебе буду писать! А, приехав осенью, обниму, но короткий хвостик покупать себе не буду. А равно также и короткие штаны до колен. А равно также и клетчатые чулки.

Ну, вот, пока и все. Жду тебя в Москву. Надеюсь, что Анна Ильинична поправилась. Передай от Люси и от меня ей привет.

Твой Михаил

М. А. Булгаков

ПИСЬМО П. С. ПОПОВУ

Москва, 1935 г. 14 марта

Гравидан, душа Павел, тебе не нужен — память твоя хороша: дом № 3, кв. 44.

Не одни киношники. Многие мною командуют.

Теперь накомандовал Станиславский. Прогнал для него Мольера (без последней картины — не готова), и он вместо того, чтобы разбирать постановку и игру, начал разбирать пьесу.

В присутствии актеров (на пятом году!) он стал мне рассказывать о том, что Мольер гений и как этого гения надо описывать в пьесе.

Актеры хищно обрадовались и стали просить увеличивать им роли.

Мною овладела ярость. Опьянило желание бросить тетрадь, сказать всем: — пишите вы сами про гениев и про негениев, а меня не учите, я все равно не сумею. Я буду лучше играть за вас.

Но нельзя, нельзя это сделать. Задавил в себе это, стал защищаться.

Дня через три опять. Поглаживал по руке, говорил, что меня надо оглаживать и опять пошло то же.

Коротко говоря, надо вписывать что-то о значении Мольера для театра, показать как-то что он гениальный Мольер и прочее.

Все это примитивно, беспомощно, но нужно. И теперь сижу над экземпляром, и рука не поднимается. Не вписывать нельзя — идти на войну — значит сорвать всю работу, вызвать кутерьму форменную, самой же пьесе повредить, а вписывать зеленые заплаты в черные фрачные штаны!.. Черт знает, что делать!

Что это такое, дорогие граждане?

Кстати — не можешь ли ты мне сказать, когда выпустят Мольера? Сейчас мы репетируем на Большой Сцене. На днях

Горчакова оттуда выставят, так как явятся „Враги" из фойе. Натурально пойдем в Филиал, а оттуда незамедлительно выставит Судаков с пьесой Корнейчука. Я тебя и спрашиваю, где мы будем репетировать и вообще когда всему этому придет конец?

Довольно о „Мольере"!

Своим отзывом о чеховской переписке ты меня огорчил. Письма вдовы и письма покойника произвели на меня отвратительное впечатление. Скверная книжка! Но то обстоятельство, что мы по-разному видим один и тот же предмет, не помешает нашей дружбе.

Блинов не ели. Люся хворала. (Теперь поправляется).

А за окном, увы, весна! То косо полетит снежок, то нет его, и солнце на обеденном столе. Что принесет весна?

Слышу, слышу голос в себе — ничего!

Опять про Мольера вспомнил! Ох, до чего плохо некоторые играют. И в особенности из дам К. И ничего с ней поделать нельзя.

Заботы, заботы. И главная поднять Люсю на ноги. Сколько у нас работы, сколько у нее хлопот. Устала она.

Анну Ильиничну за приписку поцелуй.

Анна Ильинична! Вашим лыжным подвигом горжусь.

Пиши еще. Представляю себе, как вкусно сидите вы у огня. Славьте огонь в очаге.

Твой Михаил

Лев Шестов

ТУРГЕНЕВ

(Глава из неопубликованной книги)

Как я уже заметил, Тургенев все-таки не был вполне европейцем. Он, даже пристроив своего героя к какому-нибудь местечку при мировоззрении, всегда чувствовал, что как будто им еще не все сделано, и обыкновенно заканчивал свои произведения кратким лирическим отступлением.

Например, окончание того-же *Рудина*. Лежнев выяснил уже Рудину его общественное значение и оправдал „судьбу". Кажется, чего еще? Можно было бы и покончить на том. Но Тургенев счел необходимым еще сделать приписку:

Лежнев долго ходил взад и вперед по комнате, остановился перед окном, подумал, промолвил вполголоса „бедняга" и, сев за стол, начал писать письмо к своей жене. А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завываньем, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок... И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам!

Зачем Тургенев, европейский человек, веровавший в науку, прогресс, цивилизацию и подобные вещи, все же вспомнил о Боге и о Божеской помощи — понятиях давно и безнадежно осужденных — в конце романа, в котором никто серьезно о Боге не говорит? И, главное, ведь все знали, что Тургенев Бога не признавал. Не лучше было бы ему совсем промолчать или сказать, как Ницше, что бесприютным скитальцам никто никогда не поможет. И что, стало быть, мировоззрение без Бога, как бы научно оно ни было, ничего не объясняет и ни с чем не примиряет?! Но Тургенев все радел об общест-

венной пользе и ему казалось, что без мировоззрения придешь к нигилизму, и он спасался под сенью слов, которые в его глазах не имели никакого смысла. В такого рода лжи он не видел ничего предосудительного, а обличения в обмане не боялся. Он отлично знал, что всякого рода законченность уже тем хороша, что она не оставляет места для новых комедий дальнейших разговоров. Нужно только поставить точку и написать большими буквами слово „к о н е ц", и читатели будут рады-радешеньки, что сам учитель нашел возможным прекратить дальнейшее движение мысли. А разумеется, раз уж говорится о Боге, то больше не о чем спрашивать.

В таком же роде, как и *Рудин*, оказалось *Дворянское гнездо*. Лаврецкий, через восемь лет после истории с Лизой, вновь возвращается в Калитинский дом:

В течение этих восьми лет совершился, наконец, перелом в его жизни, тот перелом, которого многие не испытывают, но без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца; он действительно перестал думать о собственном счастье, о своекорыстных целях. Он утих и, к чему таить правду? постарел не одним лицом и телом, постарел душою; сохранить до старости сердце молодым, как говорят иные, и трудно и почти смешно; тот уже может быть доволен, кто не утратил веры в добро, постоянства воли, охоты к деятельности. Лаврецкий имел право быть довольным: он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян.

Здесь идет речь об одном из наиболее занимавших Тургенева жизненных положений. Человеку, погубившему свою молодость, судьба на мгновенье посылает надежду и тотчас отнимает. Как принять это? Лаврецкий решает, что нужно принять без упрека и ожесточения. Не выпало счастья на долю — не беда: исполняй свой долг. Он устроил „насколько мог" своих мужиков. Правда у Тургенева об этом только два слова.

Уже с Пушкина пошел у нас такой обычай: интересные герои всегда устраивают своих мужиков, но как — об этом подробно не рассказывается. Про Онегина сообщается:

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.

Обстоятельства всегда так складываются, что и долг можно исполнить, и не утратить благородства характера. Видно героев, даже очень благородных, рискованно ставить в затруднительное материальное положение. Ибо нужен утешающий конец, — нужно чтобы „вера в добро" сохранилась во что бы то ни стало. Зачем это нужно? спросят читатели. На это ответа не будет. Это читатель сам должен знать. Но как „сохранить веру в добро", Тургенев объяснит с откровенностью, не оставляющей желать ничего большего для тех, кто хочет добраться до последних источников наших понятий „о добре". Вот заключение к *Дворянскому гнезду* целиком:

— И конец? спросит может быть неудовлетворенный читатель. — А что же сделалось потом с Лаврецким? С Лизой? Но что же сказать о людях еще живых, но уже сошедших с земного поприща, зачем возвращаться к ним? Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, и увидел ее. Переходя с клироса на клирос, она прошла близко мимо него; прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини — и не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо, и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... на них можно только указать — и пройти мимо...

Кто узнает, что почувствовали оба?.. Но зачем узнавать?!

Нужно только научиться искусству „проходить мимо" всего, что носит загадочный и проблематический характер! Нужно только уметь носить шторы на глазах — и получится возможность сохранить „веру в добро". Если бы Лаврецкий побольше всматривался и прислушивался к своим „чувствам" и не забывал такие мгновения, как свою встречу с Лизой в монастыре, — мог ли бы он остаться довольным собою порядочным человеком и забыть о „своекорыстных" целях?

По наблюдениям Тургенева в жизни можно и даже должно уметь не видеть и не думать, когда нужно. И опять-таки это не его наблюдение — это результат европейского опыта, который учит, как высшей и не требующей проверки, последней истине, что в жизни есть нужные и ненужные люди, и что ненужные люди обязаны хоть тем оправдать себя, что они охотно и радостно поступают на службу к нужным. Лаврецкий и Лиза свихнулись в жизни. Если они, так или иначе, согласятся принять служебную роль, и не только исполнять ее, но гордиться ею, т.е. верить в добро, мы пожалеем о них, даже будем хвалить. Если же они не пойдут на это — ну, тогда у нас есть все права презирать и даже преследовать их — разумеется, преследовать не так, как это делалось в старину, огнем и мечом, пытками и казнями, а соответственно нашим гуманным понятиям — больше обидными и уничтожающими словами, нежели наказаниями. Виноватых бьют — этот принцип целиком перешел из традиций некультурного прошлого в современную этику. Но в былые времена этот принцип поддерживался только силою, и при случае выходило, что виноватые тоже бьют. Теперь же „виноватых бьют", а они молча целуют карающую руку. И это называется справедливостью, ибо при таком порядке казнит будто бы уже не человек, а идея. Идее же все разрешается.

Рудина Тургенев еще щадит, как Лаврецкого и Лизу, потому что они верят в добро и подчиняются. Но когда попадаются господа вроде Веретьева (в „Затишье") о них уже не жалеют, а прямо объявляют: хоть они и даровитые и замечательные люди, но из них „никогда ничего не выходит".

Кажется, не страшные слова, а ими, как гробовой крышкой, навсегда прихлопывается человек. Это называется этическим осуждением, и этим бескровным способом пытки и казни, этой вновь изобретенной гильотиной моральной, наше время гордится. Для современного человека что может быть ужаснее, чем услышать о себе суждение, что из него ничего не выйдет.

Ибо этическое осуждение имеет своим источником не обыкновенные утилитарные соображения, а высшую автономную идею потустороннего, метафизического происхождения. Кант даже дал формулу для автономной нравственности: — Каждое из наших действий должно быть таково, чтобы принцип его мог стать принципом всеобщего законодательства.

На что уже, кажется, „чистый" принцип — без малейшей примеси утилитарных соображений. Но это только кажется. На самом деле, несмотря на свой формализм, этот догмат ничего, кроме охранения общественных нужд, не заключает в себе. Ибо как решить, какой из принципов должен, а какой не должен стать принципом общественного законодательства? По Канту, решение подсказывается внутренним голосом совести. Дальнейших объяснений он не счел необходимым представить — эту трудную задачу он оставил своим ученикам и комментаторам. Ученики бились, бились — и в конце концов, все-таки решились позаимствоваться у утилитаризма.

Любопытнейшая вещь: идеализм и утилитаризм явно презирают и не хотят знать друг друга, а втайне постоянно один другого поддерживают. Когда у утилитаризма иссякают „доводы", он обращается за громкими словами к идеализму. Когда идеализму нужно отыскивать „принцип всеобщего законодательства", он, нисколько не смущаясь, обращается за помощью к своему врагу. Приведу известный пример, сплошь и рядом предлагаемый кантианцами в объяснение догмата их учителя.

Есть заповедь „не лги". Спрашивается: почему не лгать? Отвечается, по Канту, — ибо если все люди станут лгать (т.е. если ложь станет принципом всеобщего законодательства), то это приведет к ужасным последствиям, совместное жительство

станет невозможным. Рассуждение вполне утилитарное. Напоминаю — это не мой пример. Я лично даже думаю, что Кант тоже остался бы недовольным таким наглядным пояснением его учения. Собственно, по Канту нужно не лгать, хотя бы ложь приводила к самым полезным результатам, а правда грозила бы гибелью всему человеческому роду. Кант мог выдержать свой прицип исключительно потому, что его противники еще не теснили и никаких объяснений от него не требовалось. Если бы в самом деле Канту нужно было, да еще не теоретически, а практически, разрешить вопрос: солгать ли или погубить своей правдой отечество, он вероятно предпочел бы не писать *Критики практического разума.* И тогда бы он, может, увидел, что говорить правду — это не обязанность, а привилегия. Многие хотели бы быть правдивыми, но не всем эта роскошь по средствам. И цари принуждены бывают лгать: вспомните дипломатические отношения. Но Кант этого не вспомнил. Его ограниченный жизненный опыт немецкого профессора подсказывал ему все скромные и незначительные случаи, где ценой большой лжи можно было купить маленькую выгоду. И он выставил принцип: ты не должен лгать — noblesse oblige.

Момент обязательности, принудительности, долга, выдвинутый Кантом, как существенный, чуть ли не единственный предикат моральных действий, в конце концов служит только указанием на то, что Кант в себе самом и в людях, к которым он обращался, был скромным человеком и даже в глубине души не делал различия между собою и другими — видел только существа, подлежащие облагораживающему действию морали. Noblesse oblige. — Формула не для родового дворянства, умеющего видеть в своих обязанностях свои главные привилегии, а для образованных, разбогатевших выскочек, алчущих приобщиться к знати. Они привыкли лгать, трусить, мошенничать и т. д., и их пугает необходимость „бескорыстно" говорить правду, смело идти навстречу опасности, расточать богатства и т. д. И они, чтобы не забыть, ежечасно повторяют себе и своим детям, в жилах которых течет еще кровь их

лгавших, дрожавших, пресмыкавшихся отцов: ты не должен лгать, ты не должен трусить, ты должен быть великодушным и щедрым. И все это непременно бескорыстно, так, чтобы никто об этом не знал ничего. Это глупо, нелепо, непонятно разуму, здравому смыслу, это все вероятно сомнительного, потустороннего метафизического происхождения, но noblesse oblige.

Так что, повторяю, Кант вероятно не согласился бы со своими учениками, что нельзя лгать, потому что это вредно для общества. Он во всяком случае меньше всего был заинтересован в таком наглядном сближении морали с общественной пользой. Тем более, что еще далеко не разрешен вопрос пользы или вреда лжи для общества. Может быть, наоборот, вредна правда. До сих пор, по крайней мере, мы не имели случая проверить на опыте, что вышло бы, если бы люди стали говорить правду. Может быть, правдивое человечество и дня не просуществовало бы. Пока мы знаем, что люди лгут непрерывно.

И все-таки заповедь „не лги" принимается идеалистами, хотя у них за нее говорит одно предположение о ее пользе. Это естественно. Всякое мировоззрение стремится, исходя из того или иного разрешения проблемы человеческого существования, так или иначе направить нашу жизнь. Но у нас нет ни сил, ни данных для разрешения общей проблемы, и, следовательно, все наши моральные выводы будут более или менее (говоря честно — только более) произвольны и будут свидетельствовать либо о наших предрассудках, если мы боязливы по природе, либо о наших склонностях и вкусах, если мы имеем смелость доверять себе и быть самими собою. Но поддерживать предрассудки — жалкое и недостойное философии дело; кажется, никто этого не станет оспаривать.

А потому, не самое ли правильное было бы решиться перестать огорчаться разногласиями человеческих суждений и пожелать, чтобы в будущем их было как можно больше? Истины нет — остается предположить, что истина в переменчивости человеческих вкусов. Поскольку того требуют условия человеческого совместного существования, постараемся сговориться, но ни на иоту больше. Каждое соглашение, не вызван-

ное крайней необходимостью, будет преступлением против Духа Святого. Это один из важных аргументов в защиту так презираемой идеалистами утилитарной морали.

Мораль не может не быть утилитарной — и в этом нет беды. Нужно только, чтобы она не забывалась и не требовала бы себе не принадлежащих ей почестей. Но именно потому что морали хочется занять слишком высокое положение, она заявляет претензии на всезнание и на всемогущество, и на суверенное право издавать обязательные для всех законы. Нужно утешить — мораль говорит: „я могу". Нужно осудить бесповоротно — опять-таки мораль говорит: могу. И, чтобы сделать свои права несомненными, она отрекается от своего действительного прародителя, пользы, и объявляет себя потомком метафизической гордыни.

„Истина" — туда же, вслед за моралью, лезет в аристократы. И, для большей прочности успеха, истина ручается за добро, а добро, в свою очередь, за истину. А на деле, источником обоих является только боязнь и расчетливое стремление к пользе.

Homo homini lupus — одна из незыблемейших предпосылок вечной морали, заимствованная из обыкновенного житейского опыта. В каждом из своих близких, даже в себе самих, мы подозреваем опасного врага и потому боимся его.

„Этот человек легкомысленен — если не обуздать его законом, он нас погубит", — такая мысль является у нас каждый раз, когда кто-нибудь выходит из освященной традицией колеи. Опасение, конечно, справедливое: мы так бедны, так слабы, нас так легко разорить и погубить — как же нам не бояться? Но ведь нередко под опасным и грозным с виду поступком кроется нечто значительное и верное, что следовало бы внимательно и сочувственно рассмотреть. Но у страха глаза велики: мы видим опасность, и только опасность, и строим мораль, за которой, как за крепостной стеной, всю жизнь отсиживаемся от действительных или воображаемых врагов. Только поэты брались иногда воспевать опасных людей — Дон Жуанов, Фаустов, Тангейзеров. Но поэтов никто не принимает

серьезно. Здравый смысл ценит гораздо выше немецкого Landpfarrer-а чем Байрона или Мольера.

Тургенев осудил Веретьева как бесполезного, а потому не стоящего внимания человека и, загнав в мировоззрение Рудина, Лизу и Лаврецкого, был глубоко убежден, что исполнил святое назначение писателя.

1903?

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Джон Апдайк

ПОХРУСТЫВАНИЕ СЧАСТЬЯ

(Владимир Набоков, **Подвиг**. Перевод с русского Дмитрия Набокова в сотрудничестве с автором.)

Вот книга, достойная не рецензии, а сдвинутых бокалов. Давайте же все возрадуемся вместе с Владимиром Набоковым. Прежде, чем ему исполнилось двадцать, революция лишила его России-матушки и многомиллионного состояния. Когда ему было сорок, Гитлер лишил его новой родины — Европы и еще одного состояния — скопленных к тому времени сокровищ из художественной прозы и поэзии, созданных на русском языке его псевдонимом В. Сириным. Эти драгоценные oeuvres не годились для печатания в Советском Союзе, и, казалось, им суждено было уйти в небытие, ибо движение времени рассеивало и поглощало субнацию российских эмигрантов. Когда в 1940 году Набоков сошел на эти берега, у гения его не было ни видимого прошлого, ни мыслимого будущего. Однако он с детства знал английский и теперь воплотил на этом втором языке порывы своего остраненно оригинального вдохновения, вновь развел огонь своего неповторимого глагола и одарил Америку литературным мастером, которого не она воспитала. Эта вторая карьера, увенчанная одиозной, доходной и блистательной *Лолитой,* набравши силу, подала руку первой и вызволила из забытья ее субстанцию — романы, сочиненные „Сириным" в Берлине между 1925 и 1937 г.г. Нынче, когда Набоков славно вплывает в свой восьмой десяток, напечатан *Подвиг,* последним из этих романов достигнувший тихой гавани канонического английского перевода. Радуга романов (девяти русских и шести английских) выгнулась теперь во всей своей законченности, вкупе с несколькими рассказами, стихотворениями и статьями. Нет сомнения, что в русском оригинале застряли кое-какие превосходные интонации (пушок нюанса и сладкозвучия, так же отвергающие пересадку, как пыльца на бабочкином крыле), но в основном прилежание и самоуважение

Набокова возобладали над слепой попыткой жестокого столетия заглушить его чувство и разорить полку с его работами.

Можно только гадать, отчего *Подвиг* дождался своей очереди последним. Написан он был в 1930 году, сразу же после *Соглядатая*. Если отбросить *Соглядатая* как новеллу, *Подвиг* стоит между двумя мастерски написанными романами — *Защита Лужина* и *Камера обскура*. По сравнению с ними он слабоват: конец его сбивает с толку, — но то, что происходит по дороге к концу, разворачивается со странной и вполне очаровательной небрежностью. *Подвиг* так толком и не осознает свое звание романа, свою обязанность держать читателя в напряжении. Второстепенные его персонажи — хладнокровный английский джентльмен Дарвин и мрачноватая маленькая эмигрантка Соня — попадают в поле зрения по эллипсу, как будто вращаются вокруг какого-то иного солнца. Юный герой, Мартын Эдельвейс, являет собой центр антигравитации: у нас такое чувство, что все убегает от него. Хотя он русский, фамилия у него швейцарская, и это наводит на мысль о некоей внутренней атомной расщепленности. В одном из тех самых предисловий, ведущих себя наподобие домовладельца, захлопывающего двери неприглядных стенных шкафов, поносящего фрейдиста на лестничной площадке и бесцеремонно подталкивающего потенциального жильца к тому единственному окну, из которого открывается приличный вид, Набоков уподобляет построение *Подвига* шахматной задаче, главная хитрость которой состоит в бессилии обыкновенно многомощного ферзя. Намек этот небесполезен. Задним числом, оба порока книги, коли то вообще пороки (вялое развитие сюжета и резкая развязка), соединяются, как и было рассчитано, в одно ее качество — слабую силу, или грустную радость.

Мартына ведут по тропинкам набоковской биографии. Усадьба с песочными аллеями, темные фамильные альбомы и окрашенное стекло крыльца, английские бисквиты и привезенная издалека зубная паста, идиллические дни в теплом Крыму, в то время, как бушует гражданская война, импровизированный отъезд на черноморском грузовом пароходе, прибытие

в Европу, которой никогда не избавиться от открыточной яркости и затейливости резных часов, отличающей посещенное место, место, которое не Россия и оттого не вполне реально. Мы уже бывали там прежде — в лужинском детстве, в секретных мифах Ван Вина и превыше всего — в *Других берегах*. В своей роли чрезмерно заботливого собственника Набоков предупреждает нас от тождественных деталей или сходства пейзажа в *Других берегах*, однако как не заметить чудесную газету — полосу лондонской *Таймс*, которую он держит перед камином, чтобы ее туда втянуло:

...напряженный лист приобретал теплую прозрачность, и строки на нем, мешаясь с просвечивающими строками на исподе, казались диковинными знаками тарабарского языка. Затем, когда гул и бушевание огня усиливались, на газетном листе появлялось рыжее, темнеющее пятно и вдруг прорывалось, вспыхивал весь лист, тяга мгновенно его всасывала, он улетал в трубу, — и поздний прохожий, магистр в темном плаще, видел сквозь сумрак готической ночи,как из трубы вырывается в звездную высь огневласая ведьма, и на другой день Мартын платил денежный штраф.

Когда четверть века спустя Набоков изложил свои воспоминания о Кембридже, эти образы возвратились, почти предложение в предложение: „и огромный горящий лист с фырчащим шумом освобожденного феникса улетал в трубу к звездам. Приходилось платить несколько шиллингов штрафа, если властям доносили об этой жар-птице"; в той же самой главе *Других берегов* Набоков сообщает: „Настоящая история моего пребывания в английском университете есть история моих потуг удержать Россию". Мартын Эдельвейс — это alter ego, лишенное набоковского художественного призвания; эта преднамеренная лоботомия произвела до странности пустого героя, „странствующего плейбоя", обладающего мечтами, но лишенного честолюбивых устремлений, оканчивающего колледж, чтобы заняться теннисом, бродяжничать и в конце

концов совершить самоубийственный переход в Россию. Однако, если подумать, Мартын всегда был неподалеку от смерти:

Мартын, лежавший в соседней комнате и нарочито храпевший, чтобы мать не думала, что он бодрствует, тоже мучительно вспоминал, тоже пытался осмыслить смерть и уловить в темноте комнаты посмертную нежность.

Умирает не только его отец, но и друзья его — сверстники, воюющие в рядах белых; на темной дороге в Крыму к нему пристает пьяный с револьвером, а в Альпах он испытывает себя, проходя по головокружительному карнизу скалы. Если читатель задним числом найдет, что он не сумел с должной серьезностью отнестись к этим темным намекам, то причина, быть может, состоит в том, что Мартын — это самый здоровый герой Набокова, а *Подвиг* — его самая солнечная книга.

Страница за страницей полнится сверкающими физическими описаниями:

С наступлением лета погнали крестами меченных овец еще выше в горы. Неизвестно откуда, с какой стороны, начинал доноситься журчащий металлический звон, плыл, обволакивал, вызывал у слушателя странную щекотку во рту, и вот, в облаке пыли, серой, курчавой густыней, лились, мягко толкаясь, овечьи спины в переменчивой и подвижной тесноте, и влажный, полый, услаждающий все чувства звон колокольцев все рос, наливался, так таинственно, словно звучала сама пыль, клубящаяся над овцами...

Отказав Мартыну в художественной или политической страстности, но не обделив его своим собственным полным запасом чувств, Набоков выпустил на волю редкого в литературе джина — здоровое чувство физической крепости. В *Подвиге* ощущениям стремительного тенниса, вратарских бросков в футболе или кулачного поединка отдает должное художник и созерцатель, который был также и спортсменом; то же

касается и менее уловимых, но не менее физических ощущений железнодорожной езды, трубочного дыма, и мужской компании за чаем, „запаха земли и тающего снега, шероховатого свежего запаха", земледелия: чашка вокруг дерева „наполнялась пузырчатой коричневой водой, и он шарил в ней лопатой, сердобольно размягчая почву, и что-то изумительно легчало, вода просачивалась, благодатно омывала корни. Он был счастлив, что умеет утолить жажду растения". Как и у более раннего русского автора, счастье является хрупкой, в каком-то смысле ужасной темой. Создается впечатление, что телесная близость воспринимается Мартыном сквозь призму женской хрупкости:

...он с восторженной грустью думал о той милой женщине, о ее нежной, слегка впалой груди и ясных глазах, и о том, как непрочно похрустывала она в его объятиях, приговаривая: „Ай, сломаешь".

Столь же восторженные предложения тянутся заключить в своих объятиях плотное и слабеющее тело описываемого мгновения с похрустыванием превосходного прилагательного:

Нарастала, закипала пеной и кругло опрокидывалась волна, стелилась, взбегая по гальке, и, не удержавшись, соскальзывала назад при глухом бормотании разбуженных *камушков.*

...дачная прохлада в комнатах, столь отчетливая после наружной жары, толстый шмель, с обиженным *жудом стучащий по потолку, еловые лапы на синеве неба...*

Вот с того года Мартын страстно полюбил поезда, путешествия, дальние огни и раздирающие вопли паровозов в темноте ночи, и яркие паноптикумы мгновенных полустанков.

Усилия автора удержать ощущения, жесты — „он сжимал узкие губы, осторожно, как стрекозу, снимал пенснэ..." —

с такой свежестью и точностью делаются средством, с помощью которого выступающий от третьего лица герой набирает нравственный кредит или, по крайней мере, выказывает упрямую тягу к добросовестности. Умирает старик, и Мартыну „больше всего жаль своеобразия покойного, действительно незаменимого, — его жестов, бороды, лепных морщин, неожиданной застенчивой улыбки, и пиджачной пуговицы, висевшей на нитке, и манеры всем языком лизнуть марку, прежде, чем ее налепить на конверт да хлопнуть по ней кулаком. Это было в каком-то смысле ценнее его общественных заслуг, для которых был такой удобный шаблончик..." Мартын наделяется „мечтательной жизнерадостностью" и стремлением отыскать во всем искру, однако автор заявляет, что он не мучим „писательской алчностью (столь родственной боязни смерти), постоянной тревогой, которая нудит запечатлеть неповторимый пустяк". Это заявление довольно формально и отдает жестокостью эксперимента, в котором разрезают живую тварь и дают ей дергаться без головы. И все же, как снова засвидетельствовало наше десятилетие, верно, что молодежь в чувствительности своего животного здоровья имеет склонность к искусству, и если перед ней нет художественных задач, попусту растрачивает свой художественный темперамент в символических действиях, в модных „приколах", которые есть бессмысленные самоиспытания и имеют своей тайной конечной целью смерть. В *Подвиге* есть об этом, но суть книги не в том. Суть ее, безусловно, в восторженных описаниях и в frissons, которые они нам дают; в том, что Мартын уподобил „неожиданным, озаренным прогалинам", где можно „вытянуться до хруста в суставах и упоенно замереть"; в том, что Набоков в послесловии к американскому изданию *Лолиты* называет „попросту...эстетическим наслаждением". Хотя *Подвиг* дошел до нас последним, он оставляет такое ощущение наслаждения пережитого и содержит такой заряд наслаждения излученного, что представляется далеко не последним из русских романов этого счастливого человека.

Перевод Владимира Козловского

Джон Апдайк

ВАН ЛЮБИТ АДУ, АДА ЛЮБИТ ВАНА

(Владимир Набоков, **Ада**. Нью-Йорк: „МакГрау-Хилл", 1969. 589 стр.)

Когда книга настраивает читателя против себя, это либо из-за того, что автор не сумел осуществить своих намерений, либо из-за того, что намерения его противноваты. Поскольку, как ни крути, Владимир Набоков наделен лучшими данными среди писателей англоязычного материка (персональный мыс которого подле Женевского озера он населяет), надо полагать, что начальные главы его нового исполинского романа *Ада* задуманы нарочито отталкивающими. Его проза никогда еще (даже в высокомерных предисловиях к работам, вызволенным из русского оригинала, даже в сумасброднейших порывах Гумберта Гумберта) не поражала съежившегося читателя более свирепой эрудицией, такими забористыми каламбурами, неотесанными интермедиями и людоедскими подмигиваниями. Вот к примеру:

"Я могу прибавить, — сказала девушка [Ада], — что этот лепесток принадлежит ятрышнику двулистному обыкновенному, Butterfly Orchis, *что мать моя даже безумней своей сестрицы и что в столь бесцеремонно отброшенном бумажном цветке можно без особого труда распознать воспроизведение весеннего подлесника, который я в изобилии наблюдала среди холмов прибрежной Калифорнии в феврале прошлого годв. Доктор Кролик, наш местный натуралист, о котором вы, Ван, упомянули, как выразилась бы Джейн Остин, для ускорения авторского повествования (вы ведь помните Брауна, Смит?), установил, что экземпляр, привезенный мною из Сакраменто в Ардис, есть „медвежья лапа",* Bear-Foot, *мед-вежь-я, любовь моя,* B, E, A, R, *не моя лапа и не ваша, и не лапа стабианской цветочницы, эту аллюзию ваш отец, который, если верить Бланш, приходиться батюшкой и мне, понял бы запросто, вот*

так (американский щелчок пальцами)."

"I can add," said the girl [Ada], "that the petal belongs to the common Butterfly Orchis; that my mother was even crazier than her sister; and that the paper flower so cavalierly dismissed is a perfectly recognizable reproduction of an early-spring sanicle that I saw in profusion on hills in coastal California last February. Dr. Krolik, our local naturalist, to whom you, Van, have referred, as Jane Austen might have phrased it, for the sake of rapid narrative information (you recall Brown, don't you, Smith?), has determined the example I brought back from Sacramento to Ardis, as the Bear-Foot, B,E,A,R, my love, not my foot or yours, or the Stabian flower girl's—an allusion, which your father, who, according to Blanche, is also mine, would understand like this (American fingersnap)."

Притом и сюжет, так грубо вторгающийся в наше сознание, лишен компенсирующей основательности или убедительной непосредственности. *Ада* снабжена подзаголовком: „Или пылкость, Семейная хроника" (Or Ardor, A Family Chronicle), и центральный семейный вопрос — в котором нелегко разобраться — касается брака между двумя сестрами Дурмановыми, Мариной и Аквой, и двумя господами, каждого из коих зовут Вальтер Д. Вин, — кузенами, различаемыми прозвищами Ред (или Дан) и Демон. У Демона изрядный роман с Мариной, но женится он на Акве, которая охотно повреждается в уме. Этот несчастливый брак производит одного видимого отпрыска, Ивана — не смешивать с дядей Иваном — рано скончавшимся братом сестер Дурмановых. Я говорю „видимого отпрыка", поскольку настоящей матерью „Вана" является Марина, которая в силу своей плодовитости и безотказности приходится матерью и другому незаконному чаду Демона — Аде, равно как (от своего собственного супруга — Реда Вина, известного торговца произведениями искусства) и второй дочери — Люсетте. Эта весьма кровосмесительная любовная связь („весьма", ибо помимо того, что герои по видимости являются кузеном и кузиной, а на самом деле — родные брат и сестра, они

еще к тому же состоят в троюродном родстве, происходя от князя Всеслава Земского) между Ваном и Адой занимает почти шестьсот шаловливых страниц.

Эта генеалогическая головоломка опирается на неспокойную географию планеты Демонии, или Антитерры, где наша домашняя Терра есть несвязный слух, слепленный из видений безумцев, в который „верят", или нет, — как в рай. На Антитерре Канады и Эстоты содержат обширные французские и русские территории (как, наверное, и набоковская память) и удивительные достопримечательности, такие как „отпечаток по-мужицки босой ноги Толстого, сохраненный в глине мотеля в Юте, где он сочинил повесть о Мюрате, который был вождем навахо и бастардом французского генерала". Большая часть *Ады* происходит во второй половине антитерровского девятнадцатого века, после того, как „Л-бедствие" привело к запрещению электричества, и людям проиходится общаться друг с другом при помощи „дорофонов," которые звонят бульканьем всех туалетов в доме; один из них отвечает словами *"A l'eau!"* Атмосфера этого „кривого зеркала нашей кривой планеты" туманится затхлостью классических романов и кишит всяческой мошкарой, кою невредно и прихлопнуть: „Г-н Элиот, бизнесмен-еврей", „Д-р Фройт из Синьи-Мондье-Мондье", *Les Amours du Docteur Mertvago,* „Собрание сочинений Фолкнерманна", „этот пренеприятнейший Норберт фон Миллер" и „Джеймс Джонс — полное отсутствие смысла сделало эту формулу идеальным псевдонимом, несмотря на то, что вообще-то она является его настоящим именем".

Так что же, почему бы автору не сотворить „выселенную", "nulliverse," чтобы „онейрологически" отобразить содержимое своего собственного сознания? „Л-бедствие", „замечательным образом одновременно вызвавшее и предавшее проклятию понятие „Терры", есть, разумеется, русская революция, произведшая такую пертурбацию в набоковской жизни. Смешение Америки (Estotiland) и России (Tartary) в одну идиллическую страну, где все говорят по-французски, — это не только подшучивание над Канадой, это метафорческое отобра-

жение его личной судьбы. Во вздорном венерострадателе Ване Вине видится В. Н.; Nabokov = Van + book. Ада (рифмуется с Невада) есть ardor „пылкость", и art, „искусство", однако, мне думается, не „Американцы за Демократическую Акцию". Она также, в одном-двух измерениях, есть набоковская жена Вера, его постоянная сотрудница и неизменный адресат посвящений в его книгах. Воспроизведенные в романе пометки Ады на полях вановской рукописи относятся к числу живейших его моментов и иногда обуздывают буйствующий гений автора. У меня есть подозрение, что многие детали романа являются также и средством личного общения между мужем и женой; к примеру, некоторые из изнурительно точных дат являются, если употребить излюбленное словцо автора, „судьбоносными", fatidic. Я уверен, что триязычные каламбуры ("Je raffole de tout ce qui rampe" — "I'm crazy about everything that crawls" — „Я без ума ото всего, что ползает", — заявляет Ада) кишмя-кишат под поверхностью этого романа наподобие мокриц под корою старого пня. Их терпеливое толкование и формалистическую расстановку всех параллелей и противоположностей, придающих геометрическую форму „нашему беспорядочному роману", поспешный рецензент имеет право передоверить аспиранту, который между затяжками анаши (в то время как жена его тренькает на младенце или нянчит гитару — Лог Святый, этот убийственный стиль заразителен!) сможет провести немало блаженных и беспорочных часов за распарыванием поблескивающей вышивки любовного труда, которому Набоков посвятил пять лет. Он может начать с бросающейся в глаза анаграммы из *insect (incest, nicest,* scient), перейти к бабочкам, имитирующим орхидеи, и орхидеям, имитирующим бабочек, вымочить ноги в водянистых образах (Аква, Марина, давай сам "A l'eau*l* "), а потом сделать что-нибудь с „крестописью", которая попадается в совершенно удивительных местах, например в связи с мотыльками на булавках, экскрементами героя и расположением четырех волосяных участков на теле созревшей женщины. Если на то пошло, это самая религиозная книга Набокова (его „Завет", так же,

как и его „Буря"); ей удается бросить несколько косых взглядов в сторону христианской религии — предыдущего наброска упорядоченного сверхъестественного. Ада — это женский род от „ад" (он же Гадес), а в „нирване" и в „царстве небесном", например, содержится „Ван".

Однако, отвечая на поставленный выше вопрос, одна из причин того, что авторам не стоит сотворять „выселенных", заключается вот в чем: на Антитерре сложно создать ту гравитацию, которой наделена даже слабейшая земная повесть. Детали и когда комические, когда желчные продолжения авторских предрассудков и фантазий отвлекают нас от ангелов и демонов, которые, оказывается, задуманы как люди. Конкретно, приключения Ады и Вана разворачиваются промеж препонов столь автоматических, столь откровенно выволоченных с чердаков М. де Лафайет и графа Толстого, что трудно так же сильно тревожиться о перерывах в совокуплениях героев, как это делает автор и они сами. В пейзаже „Ладора, Ладоги, Лугано и Луги" все слипается в дурачество. Сознаюсь в предрассудке: литература землестремительна, и если надо для приличия выдумывать названия мелких и средних городов, то громадные города и страны неповторимы и должны быть названы своими собственными именами, либо не поименованы вообще. Мне даже не понравилось, как Набоков в *Бледном огне* незаконно наделил штат Нью Йорк именем Аппалача. У него много прав на нашу любовь, в том числе и потому, что он является выдающимся певцом земной географии и задолго до настоящих космонавтов увидал в своем замечательном рассказе „Ланс" „молящуюся женщину Балтийского моря, и...застывшие на трапеции изящные Америки, и Австралию, похожую на Африку во младенчестве, уложенную на бочок". Его видение и чутье сами по себе настолько не от мира сего, что тратить их на сказочную страну — это как класть глазурь на пирог с глазурью. Пейзажи в *Аде* не идут ни в какое сравнение с русскими видами в *Других берегах* или с трансамериканской хиджрой Лолиты и Гумберта Гумберта.

Как с названиями мест, так и с именами действующих

лиц: нам так и не удается свыкнуться с игривым сдваиванием Аквы и Марины, Демона и Дана, и хотя безумие Аквы занимает несколько чудных страниц, а Демон издает кое-какие звуки, приближающиеся к звукам настоящего отца во плоти и крови, члены этой четверки так и остаются оживленными анаграммами, симметрическими отростками, которые тщатся быть персонажами. Конечно, мы пребываем в мире хризалид и метаморфоз; так же, как и в *Приглашении на казнь* и *Bend Sinister,* рушатся картонные кулисы и кисейные украшения, и обремененный смертью автор-герой волочет ноги к кромке сцены. Так оно происходит и здесь, и последние страницы *Ады* — это ее лучшие страницы, стоящие наравне с лучшими набоковскими страницами, однако прежде, чем добраться до них, мы преодолеваем излишне обширную пустыню насмешливой, эфемерной, расползающейся под ногами полуреальности.

Определите реальность.

Это то, что существует.

Но не имеете ли Вы в виду лишь то, что доступно ощущениям? Можем ли мы отделить вселенную, от которой Вы, по-видимому, в большом восторге, от нашего ощущения ее? И можем ли мы, говоря конкретнее, отделить описываемую в книге реальность от того, что автор называет реальностью? Разве „дорофон" меньше существует на бумаге, чем „телефон", из-за того, что сто миллионов „реальных" телефонов дают знать о себе хриплым бакелитовым голосом, тогда как дорофон есть лишь неповторимое изобретение надменного писательского воображения? И разве недостоин автор аплодисментов и признательности за то, что дерзнул заняться не безотрадным, в духе Золя, копанием в болотистом „внешнем" мире, столь же иллюзорном, сколь мир иной, а трудиться вдоль кромки живой радуги, где писательский разум сходится с читательским в измороси отступающей грозы „традиционного" романа; чудеснее всего об этом отступлении сигнализирует радостная переливчатость пародии. Разве Вам не кажется, что этот пренебрежительный колдун предчувствовал со своих высот Ваши плебейские придирки и заранее презрительно

отмел их?

Разумеется, автор знал, на что идет, и некоторые его выходки вполне умышленны. На странице второй Ван с обезоруживающим видом сознается, это наделен „по наследству толикой эксцентрического — и нередко достойного осуждения — вкуса". В книге хватает оборонительных выпадов в сторону „кретинов-критиков". Но нарочно ли сделано так, что разговоры между любовниками столь удушающе отдают взаимным восхвалением, что диалог повсеместно распыляется на зубоскальство и каламбурчики, и что герой — такое животное? Когда девица, избавившая Вана от невинности и называемая со всей учтивостью „приземистой, по-свинячьему розовой потаскушкой", пытается поцеловать его, он „отпихивает ее лицо локтем". Когда в него влюбяется младшая сестренка Ады Люсетта, он доводит ее до самоубийства. Когда мальчик Ким — слуга в Ардис Холле — фотографирует Вана и Аду за любовными утехами и пытается их шантажировать, Ван устраивает, чтобы его ослепили („когда его выносили из избушки, один глаз у него болтался на красной ниточке, а другой был утоплен в собственной крови"). Ада, благослови ее Господь, время от времени упрекает его за жестокосердие, объясняя, что „не все так счастливы, как мы", однако Ван воротит нос от „глупой жалости" („я нечасто испытываю это чувство") и продолжает ублажать за чужой счет свое эго, которое „куда богаче и горделивей, чем могут себе представить эти два червя". Под червями подразумываются два адиных любовника, от которых автор избавляется, прежде чем до них успевает добраться охочий до дуэлей Ван. Что до Кима, то: „Я загладил вину, — ответствовал толстый Ван со смешком, отличающим толстяков, — я содержу Кима в спокойствии и уюте в милейшем Инвалидном доме для интеллигентов и лиц свободных профессий, где он получает от меня груды книг по новшествам в цветной фотографии, писанных превосходным Брайлем". Можно предположить, что сия похвальная терапия сродни „тем пользительным занятиям, которым щедрые организации, просвещенные администраторы и благонамеренные психиатры

обучают жертв полиомиэлита, сумасшедших и заключенных, таким как переплетное дело или вставливание голубых бусинок в глазницы куколок, изготовленных другими преступниками, калеками и безумцами".

Хоть это и не всегда легко сделать, следует различать между безжалостностью героя и авторским стремлением к изображению уродства и боли. Вспомним, что кроткий профессор Пнин намеревался прочесть когда-нибудь курс по „Истории боли". На всем протяжении набоковского творчества боль в физическом мире является близнецом безумия в мире психическом. В *Аде* содержится жестокая картина загробной жизни: „В потустороннем мире остается единственное сознание — сознание боли". Чувствительные частички — то паутинка зубной боли, то охапка кошмаров — цепляются друг за друга, „как горсточки безвестных эмигрантов из некоей уничтоженной страны, сбивающиеся в кучку в поисках чуточки пахучего тепла, неказистой милостыни и случая вместе вспомнить о безымянных пытках в лагерях Тартарии". Раздробление сознания тонущей Люсетты („она считала нужным сообщить цепочке удаляющихся Люсетт . . . что смерть — это всего-навсего более полный набор бесконечных крупиц одиночества") ощущается с чудовищной остротой. Столь резкий фокус на боли, безумии и смерти служит обвинением не против Вана, а против этого мира. После смерти Люсетты Ван упоминает в письме о своей жажде „миров, гораздо более нравственных, чем эта навозная лепешка". И, тем не менее, слова о „навозной лепешке" — это лишь отговорка фата, и, разъезжая по свету в пеленках своих миллионов, оголяясь перед горничными, смакуя несовершеннолетних проституток, разя литературных критиков, презирая слушателей своих лекций и свирепо отшвыривая каждого, кто посягнет на его неоскверненное эго и на его преклонение перед Адой, Ван обнажает — быть может, неумышленно — свое нравственное уродство, сравнимое с зачаровывающими его уродствами физическими.

Набоков был рожден и воспитан аристократом. Он богат, здоров, в физическом смысле удачлив и лишен неврас-

тенической немощи, снабдившей модернизм Пруста, Джойса, Кафки и Манна его нежным подбрюшьем. Когда Набокова интервьюировали не так давно для японского журнала („Уми", Том 1, № 1) его спросили: „Какие авторы или книги оказали на Вас самое большое влияние?", — и он ответил безмятежным тоном: „Никакие". Положа руку на сердце, в рядах гениев литературы, набранных из числа стыдливых бедняков и прикованных к постели господ, сложно отыскать равных ему по знатности и энергии. Был вот Толстой, был Шатобриан. Толстой не выходит у Набокова из головы. *Ада* начинается с переиначивания первого предложения *Анны Карениной* и завершается сравниванием себя („своей чистой радости и аркадской невинности") с воспоминаниями Толстого. В романе имеются Вронский, Китти, Долли, а шифрованное ухаживание Левина за Китти пародируется играми в скрэбл между Ваном и Адой. Дачная атмосфера Ардис Холла передразнивает толстовскую идиллию, но и несет на себе ее отпечаток. Отец обвиняет Вана в принадлежности к „декадентской писательской школе, к компании шаловливого старичка Льва и чахоточного Антона", а Ада сочиняет „хитроумную стилизацию . . . передразнивающую ритм абзацев и завершение глав у Толстого". Несомненно, список скрытых намеков и надсмехательств можно продолжить (дерзай, аспирант!).

Но Шатобриан, которого автор приветствует прикосновением к шляпе на полудюжине перекрестков, возвышается у него более привлекательной фигурой — как деды возвышаются над отцами (и к тому же хамоватыми отцами — тайными коммунистами, не снимающими сапог). С „Аталой" *Аду* роднят гласные в имени героини и место действия в выдуманной Америке, с „Рене" — тема кровосмесительства, а с *Замогильными воспоминаниями* — атмосфера посмертности и общий тон. Даже сквозь коричневатый глянец перевода иные оттенки и извивы шатобрианской прозы приводят на ум Набокова. В „Атале" Миссисипи (которую Шатобриан, скорее всего, никогда не видал) изображается во время наводнения:

Но в жизни природы грациозное и величественное всегда сопутствуют друг другу: покамест главный поток влечет мертвые тела сосен и дубов к морю, плавучие острова из лотосов и кувшинок с желтыми цветами, воздетыми наподобие штандартов, тянутся вдоль обоих берегов вверх по течению. Зеленые змеи, голубые цапли, красные фламинго и молодые крокодилы едут пассажирами на этих устланных цветами лодках, и каждая колония развернувшая по ветру свои золотистые паруса, найдет пристанище в своей собственной тихой заводи.

Внимание к *противотоку,* волшебная меткость видения, умение отыскать идиллию в центре суматохи событий — все это сродни прозаическим приемам нашего русского автора. Шатобриан тоже пережил революцию, он тоже был натуралистом:

Зрелище это не менее живописно и при свете дня, ибо сонмы бабочек, стрекоз, колибри, зеленых длиннохвостых попугайчиков и голубых соек усаживаются на эти мхи, начинающие тогда походить на гобелен белой шерсти, в которую европейские мастера вплели насекомых и ослепительных птиц.

Привычка рассматривать природу как артефакт переплетается с приемом изображения человеческой личности в виде механизма, отдельные довольно грустные непреложности которого производят судорожные эффекты:

Аполлина де Беде /мать Шатобриана/ обладала крупными чертами, она была темнокожей, грациозной и уродливой. Ее изысканные манеры и живой нрав составляли контраст чопорности и уравновешенности моего батюшки. Она в такой же мере любила общество, в какой он — одиночество, и была так же пылка и весела, как он — холоден и бесстрастен; у нее не было ни единой склонности, которая не вступила бы в противоречие со вкусами ее мужа... Принужденная безмолвствовать, когда ей хотелось бы высказаться, она обретала утешение в своего рода

шумной грусти, перемежаемой вздохами, которые составляли единственные перерывы в немой грусти моего батюшки. В вопросах благочестия матушка моя была ангелом.

Дальше в своих *Мемуарах* Шатобриан вспоминает о воображаемой женщине, созданной его одиночеством в комбурском шато:

Ко мне являлась юная королева в убранстве из бриллиантов и цветов (то была моя сильфида). Она искала меня в полночь в апельсиновых рощах . . . под небесами любви, купающимися в свете звезды Эндимиона. Подобно ожившей статуе Праксителя, она шествовала промеж застывших статуй, блеклых картин и выбеленных луною молчаливых фресок; когда она наклоняла к моему лицу свою шестнадцатилетнюю головку, шелковистые локоны, выбивающиеся из-под нетуго надетой диадемы, ласково падали мне на бровь, а руки ее покоились у меня на груди, трепещущие почтением и желанием.

Это — Ада, вплоть до бриллиантов и цветов, *почтения* и желания. Подтверждается наше ощущение, что Ада — это Ван, что эта двоица есть одна-единственная „А" преломленного одиночества, что она слишком пылка и умна, слишком *почтительна,* чтобы существовать отдельно от него. Она сообщает ему: „Все мысли мои, о дорогой мой, — это гектографические копии твоих".

Изнасилование есть половой грех толпы, адюльтер — буржуазии, а кровосмесительство — аристократии. Романтизм, сделавший из каждого эго аристократа, породил Вордсворта и Дороти, Байрона и Августу, Шатобриана и Люсиль — сестру его, делившую с ним затворничество в Комбуре, принимавшую лунные очертания его „сильфиды" и бежавшую в монастырь. „Когда мы беседовали о мире, — вспоминал Шатобриан, — то был мир, который мы носим в себе, мало походивший на реальный мир". Ада пишет на полях *Ады:* „Я доверяю вашему вкусу и таланту, но *вполне* ли уверены мы, что нам стоит

с таким *пылом* возвращаться к тому порочному миру, который, в конце концов, существовал, быть может, лишь онейрологически, Ван?". Идиллия Ардис Холла уходит корнями в детство, художественно обрисованное на первых страницах *Дара* и *Защиты Лужина.* Идиллия эта связана с открытием самого себя, с открытием поэзии, шахмат, чешуекрылых (страсти Ады, а не Вана), собственного таланта. *Ада* есть аллегория самолюбви, самопочтения, духовность ее (а это духовная книга) рождается в круговращении идеи о том, что любить самое себя в обличье своей сестры значит сделать свою душу женственной, вынести ее за пределы своего мужского „я", овеществить ее — и так обрести душу.

Действие внешнее менее приятно, и кровосмесительная самообеспеченность стремительно деградирует в очернение мира и затем в пучину отчаяния. Хотя Ван спит с потаскухами, а Ада — с дураками, лишь у Люсетты, их единоутробной сестры, достает драгоценной субстанции, чтобы стать между ними; когда она тонет (что изображается — с достаточно отстраненной точки зрения Вана — с максимальной трогательностью), соединение Ады и Вана есть лишь дело времени, которое, как нам сообщается, являет собой недвижимую „серую дымку". В мире без субстанции соединенный со своим „я" гений рискует заполучить боязнь высоты.

Шатобриан: *Я сделал успехи в изучении языков, я стал силен в математике, к которой у меня всегда имелась ярко выраженная склонность — я мог бы сделаться хорошим морским офицером или сапером . . . Я преуспел в шахматах, биллиарде, стрельбе и фехтовании; я вполне терпимо рисовал и мог бы также хорошо петь, если бы мне поставили голос . . .*

Ван: *Ему было десять. Отец его засиживался на Западе, где многоцветные горы оказывали на Вана такое же действие, как на всех талантливых молодых русских. Он мог меньше чем за двадцать минут решить эйлерову задачу или выучить наизусть пушкинского „Всадника без головы".*

Шатобриан: *Воображение мое воспламенилось и распространялось во все стороны, оно нигде не могло сыскать себе доброй пищи и способно было поглотить небо и землю.*

Ван: *Ему надо было поступить по-своему, но коньяк был ужасен, а история мысли щетинилась штампами, и именно эту историю ему надобно было преодолеть.*

Шатобриан: *В жизни, взвешенной своим легким весом, смеренной своей короткой меркой и очищенной ото всякого обмана, есть лишь две вещи, которые по-настоящему чего-то стоят: вера, соединенная с умом, и любовь, соединенная с юностью ... все прочее неважно.*

Ван: *...эта навозная лепешка...*

Шатобриан: *Наконец, мои страдания завершило еще одно — беспочвенное отчаяние, которое я носил глубоко в сердце.*

Ван: *Он недоумевал, что же в самом деле поддерживало в нем жизнь на ужасной Антитерре, если Терра — это миф, а всякое искусство — игра.*

Игра или искусство? Набоков ручается за это своим творчеством, и имеются предприимчивые молодые критики, которые ставят на место Пруста, Джойса и Манна новую аллитерирующую троицу в составе Беккета, Борхеса и наБокова[1]), имея в виду, что эти замечательные старички изготовляют чудесные герметические коробки, наподобие пятифутовых кубов на выставке минимального искусства, которые все — внутреннее отражение и мерцание, которые абсолютно самосущи и отстранены даже от составляющего их языка. Я думаю, что нет:

---

[1]„О, я отлично знаю этих комментаторов: неспешные умы, поспешные пишущие машинки! Они бы лучше связали Беккета с Метерлинком и Борхеса с Анатолем Франсом". Н. в интервью, данном Аллин Талми из журнала *Воуг,* 26 июня 1969.

искусство отчасти игра, отчасти беспощадная эротическая схватка с Вещами, Каковы Они Есть; в коробках должны быть отверстия, через которые может выглядывать реальность и куда могут заглядывать читатели. Беккет показывает нам растленные начатки нашего бренного существования. Борхес открывает вид на мерзость запустения в лабиринте истории и дает почувствовать острый запах героизма, несущийся с аргентинской равнины. А *Ада,* хоть и претендует быть „искусством, сделавшимся чистым и абстрактным — и оттого подлинным", полна отверстий, прогалин и страниц, чья жизнь почерпнута из жизни.

Да? Так каких же именно? Места для похвал у вас осталось немного.

1. Сама Ада. Она остроумна, путана и *добра* в своих добавлениях на полях рукописи, она робко женственна в своих прегрешениях и увертках, она вполне привлекательна как порнографическая героиня, откалывающая все более и более затейливые номера. Рубеж сексуальной откровенности, на котором *Лолита* некогда служила аванпостом, откатился далеко назад; Набоков добавляет очаровательную страницу (стр. 141) к стремительно пухнущей американской антологии орального сношения, а опись адиных прелестей, начинающаяся на странице 215-ой, отличается сафической чистотой и гомеровым величием.

2. Эссе в конце книги о времени и памяти. Хотя набоковские опровержения Фрейда и Эйнштейна смахивают на потуги ряженого шамана проанализировать двигатель внутреннего сгорания в терминах полинезийской маны и симпатической магии, наблюдать за ними забавно, а его попытки выведать шутовским лекторским тоном сокровеннейшие тайны бытия обладают жуткой величественностью предельного богохульства. Научная фантастика в лучшем смысле слова.

3. Тысяча образов и словесных построений, в которых поблескивает ум и мерцает чудо. Возьмем наугад момент, когда Демон дорофонирует Марине из „придорожной будки чистого хрусталя, заплаканного после чудовищной грозы", и

упрашивает ее прийти поглядеть на „слюдяную россыпь цветов, выступивших в пустыне после дождя".

4. Вся часть пятая, которая „не задумана как эпилог — это истинное введение к моей на девяносто семь процентов истинной и на три процента возможной *Аде, или пылкости, семейной хронике. А*втор, седой чудаковатый словолюб, пристроившийся на краю гостиничной кровати", поверяет нам с высоты своих девяноста семи лет, каково быть старым, знаменитым, сексуально бессильным и успокоенным. Он описывает свои лекарства, в том числе и „восхитительное действие растворяемой в воде ложки соды, которая непременно изрыгнет три-четыре пузыря наподобие тех, в которые вписаны слова, вылетающие изо рта персонажей в комиксах его детства". Он стоит перед лицом смерти и предваряющей ее боли, „гигант с искаженным усилием лицом, зажимающий и скручивающий машину мучительной боли". Он сообщает, что как-то между прочим произошло слияние Терры и Антитерры. Ада с Ваном переводят на русский несколько строк Джона Шейда, снова, в последний раз, оглядываясь на прежние набоковские произведения. Потом они умирают, уходя в „Эдем, или в Гадес, в прозу книги или в поэзию завершающей ее рекламы"; реклама завершает книгу, что непривычно, но и не лишено обстоятельности: ощущения, приближающиеся к границе опыта, получили воплощение в типографской краске. О если бы такое соединение чудного ума и суровой материи произошло ближе к началу *Ады!*

Минутку, une petite минутку, pozhalsta, — что это еще за малосвязное, чтобы не сказать тошнотное квази-мистическое выражение, — „ощущения, приближающиеся к границе опыта"?

Ну-с, по нынешним временам религиозная жизнь человека — это последняя область, в которой его еще оставляют в покое, однако из *Ады* и из прочих свидетельств видно, что Набоков есть мистик. „Верите ли вы, — спрашивает Ада Вана, — верите ли вы, что Терра существует? А, вы верите!" А когда интервьюер из *Плейбоя* спросил Набокова, верит ли он в Бога, он ответил: „Я знаю больше, чем могу выразить словами, и та

малость, что я могу выразить, не была бы выражена, если бы я не знал больше". В том же интервью он описывает, как готовиться к написанию каждого романа, производя беспорядочные записи по велению некоей „силы" наподобие той, что понуждает птицу собирать соломинки и пушинки в подготовке к строительству гнезда. Точно так же, как Шатобриан нашел прибежище своему непомерному эгоизму и болезненности в католической ортодоксии, Набоков создал себе церковь из своего фанатического педантизма: тысяча страниц примечаний к его *Онегину* выглядят, как здание собора, в котором даже обращенные к стене колонны покрыты старательной резьбой. Сумрачное общение Шатобриана с природой в овеянном ветрами Комбуре находит параллель в более счастливых наблюдениях Набокова в Выре, где он познал запутанные повадки природы, в особенности путаницу защитных узоров чешуекрылых; неуемное хитроумие этой мимикрии кажется необъяснимым в свете механистических схем эволюции. Все в его произведениях, от насыщенного каламбурами прозаического стиля и сдваивания персонажей до изысканности обманчивой конструкции каждой его истории, заново воплощает его детское открытие, что в Природе содержится искусство-для-искусства. Однако, коли Природа есть артефакт, то должен существовать если не создавший ее Художник, то по крайней мере какая-то реальность за нею или под нею, и наивысшая дерзновенность и мучительность его романов заключается в их потугах обнажиться, выставить напоказ свои искусственные покровы и потом сбросить их. Отсюда и повторяющийся прием незавершенной, несовершенной рукописи: текст этот содержит не только заметки, сделанные Адой на полях, но и начала незаконченных абзацев и помещенные в скобки редакторские пометки вроде тех, что часто попадаются на гранках. Ван говорит о мгновении, когда на него снизошло полуоткровение: „То было странноватое чувство, как будто что-то проиграли заново по ошибке, часть предложения, попавшая не на свое место на гранках, преждевременно введенная сцена, повторенная погрешность, временная неувязка". Это „странноватое чувство" и есть

„ощущение, приближающееся к границе опыта", которое Набоков стремится воплотить в *Аде;* это „странноватое чувство" составляет суть его художественного горения и ревностности, равно как и его не всегда приятственных мистификаций и не обязательно пользительных поисков тончайшего нюанса. В *Бледном огне* Джон Шейд выказал удивительно буквальный интерес к потустороннему миру; в *Аде* Набоков стремился создать — при помощи своих Гадеса и нирваны — посторонний мир. Искусство начинается с волшебства. Хотя Набоков, как мне кажется, не стесняет себя запретами, состраданием и смирением, подобающими священнослужителю, он вполне может претендовать на более древнее звание чародея.

1970

Перевод Владимира Козловского

В. Набоков — Основная библиография

На русском языке

СТИХИ

Стихи (СПб. 1916), *Два пути* (Петроград, 1918), *Горний путь* (Берлин, 1923), *Гроздь* (Берлин, 1923), *Стихотворения 1929-1951* (Париж, 1952), *Стихи* (Анн Арбор, 1978).

РАССКАЗЫ

Возвращение Чорба (Рассказы и стихи, Берлин, 1930), *Соглядатай* (Париж, 1938), *Весна в Фиалте* (Нью-Йорк, 1956).

РОМАНЫ

Машенька (Берлин, 1926), *Король, дама, валет* (Берлин, 1928), *Защита Лужина* (Берлин, 1930), *Камера обскура* (Париж, 1932), *Подвиг* (Париж, 1933), *Отчаяние* (Берлин, 1936), *Дар* (Париж, 1937-38 — Нью-Йорк, 1952), *Приглашение на казнь* (Париж, 1938).

На английском языке

СТИХИ

Poems (New York, 1961), *Poems and Problems* (New York, 1971)

РАССКАЗЫ

Nine Stories (Norfolk, Conn., 1947), *Nabokov's Dozen* (New York, 1958), *Nabokov's Quartet* (New York, 1966).

РОМАНЫ

The Real Life of Sebastian Knight (Norfolk, Conn., 1941), *Bend Sinister* (New York, 1947), *Lolita* (Paris, 1955—New York, 1958), *Pnin* (Garden City, 1957), *Pale Fire* (New York, 1962), *Ada or Ardor: A Family Chronicle* (New York, 1969), *Transparent Things* (New York, 1972), *Look at the Harlequins!* (New York, 1974).

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР (р. 1929 в Сухуме) — начал свой литературный путь как поэт. Его первая книга стихов *Горные тропы* вышла в 1957 году. Однако в течение последнего десятилетия он выступал в основном как прозаик. Одна из его наиболее известных вещей — повесть *Созвездие Козлотура.* За двумя сборниками рассказов *Дерево детства* (1970) и *Время счастливых находок* (1973) — последовала книга под названием *Сандро из Чегема* (1977). Эта книга, однако, содержит лишь небольшую (к тому же подвергнутую цензуре) часть романа *Сандро из Чегема,* в полном объеме достигающего примерно 240 000 тыс. слов. Действие этого эпического романа обнимает многие десятилетия абхазской истории с конца минувшего столетия до нашего времени. Полный текст его будет опубликован „Ардисом" нынешним летом. **АЛЕКСАНДР ШЕФ** — ленинградец. Ему лет сорок. Его единственная книга рассказов *Записки совсем молодого инженера* вышла в Ленинграде в 1968 году. Источником для настоящей публикации „Фигурончика" послужил самиздатовский сборник рассказов Шефа, содержащий такие вещи, как „Моя история с тополем" (1963), „Митина оглядка" (1963), „Жизнь в беспрерывном беге" (1970) и „Размышления горожанина" (1975). **АНДРЕЙ БИТОВ** (р. 1937) начал публиковать свои рассказы в 1961 году. Они печатались во многих ведущих литературных журналах. Известны его книги *Большой бал* (1963) и *Аптекарский остров* (1968). Его последние книги — *Дни человека* (1976) и *Семь путешествий* (1976); первая из них содержит пять отрывков из крупной работы Битова, романа *Пушкинский дом,* специально отредактированных для такой публикации. Отдельные куски романа появлялись в советских журналах, но сам он был отвергнут советскими издательствами — теперь же полный текст романа публикуется почти одновременно с этим выпуском *Глагола.* В настоящее время Битов живет в Москве. **ДЖОН АПДАЙК** (р. 1932 в Пенсильвании, США) — один из лучших ныне здравствующих американских писателей. Он является автором многочисленных рассказов, один из которых, из одноименной книги *Музыкальная школа* (1966), публикуется здесь. Первой книги Апдайка был сборник стихов (1958); помимо этого он также блестящий эссеист, публикующий боль-

шинство своих работ в этом жанре в журнале *Ньюйоркер.* Среди наиболее известных его романов — *Кролик, беги!* (1960) и его продолжение *Кролик Редукс* (1971). Его роман *Кентавр* переведен на русский язык в 1965 году. Последний его роман — *Выходи за меня замуж* (1976). Апдайк часто выражал свое восхищение Набоковым — он считал его лучшим американским писателем его времени. **ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА БЕЛОЗЕРСКАЯ** — вторая жена Михаила Булгакова (они поженились в 1924 г.), пережившая с ним многие важнейшие события его литературной карьеры, в том числе публикацию его первой — фактически, единственной при жизни — книги *(Дьяволиада)*, шумный успех пьесы „Дни Турбиных" и ее последующее запрещение. Воспоминания Л. Е. Белозерской являются важным источником информации о Булгакове в 20-е годы; они вскоре будут опубликованы на русском и английском языках. **ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ** (р. 1886 в Москве, ум. 1939 в Париже) — поэт, критик, автор биографии Державина, мемуарист и переводчик. В число его стихотворных книг входят *Молодость* (1907), *Путем зерна* (1920), *Счастливый домик* (1920), и *Тяжелая лира* (1922, перепечатана в 1975 г.). Его мемуары *Некрополь* перепечатаны в 1976 г. издательством „ИМКА". Готовится к изданию полное собрание сочинений Ходасевича. (К сведению читателя: списки на стр. 115 печатаются в том виде, в каком они расположены в записной книжке. Знаком вопроса отмечены сомнительные прочтения.) **НИКОЛАЙ ЕВРЕИНОВ** (1879-1953) был, наряду со Станиславским и Мейерхольдом, одним из наиболее выдающихся театральных режиссеров нашего столетия. Составленная К. Муди библиография содержит более 170 названий работ Евреинова, в том числе 23 опубликованные пьесы, и почти 500 книг, статей и рецензий о нем. Он эмигрировал в 1925 году и до конца жизни жил по преимуществу в Париже. Весь 1926 год Евреинов и его жена Анна провели в Нью-Йорке. Здесь знаменитый „Театр Гилд" с большим успехом поставил его пьесу *Самое главное.* Декорации были выполнены Судейкиным. Опубликованное здесь письмо — одно из нескольких, любезно предоставленных для публикации в *Russian Literature Triquarterly* г-жой Анной Евреиновой. Оно было послано Наталии Ильиничне Бутковской,

издательнице *Современного искусства* — серии монографий о художниках. Хотя письмо отпечатано на разбитой машинке и в спешке, мы не стали поправлять правописание и пунктуацию. **МИХАИЛ БУЛГАКОВ** (1891-1940) — автор повестей, в том числе таких, как „Дьяволиада" (1924), „Роковые яйца" (1924) и „Собачье сердце" (1925); около десяти оригинальных многоактных пьес, из которых четыре опубликованы только на Западе: „Зойкина квартира" (1926), „Багровый остров" (1927), „Адам и Ева" (1930), и „Батум" (1938-39). Публикация *Мастера и Маргариты* выдвинула его в ряды наиболее выдающихся русских писателей. — Публикуемые здесь впервые два письма (приносим нашу благодарность ученому В.) были посланы Булгаковым Павлу Попову, близкому другу, профессору философии МГУ. Булгаков бесуспешно ходатайствовал перед правительством о предоставлении ему визы на заграничную поездку. „Блаженство" не было поставлено при его жизни; „Мольер" был поставлен в 1936 году, но после нескольких спектаклей снят. **ЛЕВ ШЕСТОВ** (1866-1938) — философ, эссеист, литературный критик. Среди его книг, многие из которых перепечатаны и переведены — *Начала и концы* (1908), *Добро в учении Толстого и Ницше* (1900), и *Достоевский и Ницше* (1903). Он эмигрировал в 1917 г. и поселился в Париже. Среди его позднейших работ — статьи о Паскале, Кьеркегоре, Леонтьеве и Соловьеве. Настоящая глава из неоконченной книге о Тургеневе, совпадающей в нескольких отрывках, или „афоризмах", с *Апофеозом беспочвенности* (1905), печатается по рукописи, датируемой примерно 1903 г. За предоставление текста приносим нашу благодарность Наталии Барановой-Шестовой. Целиком эта работа будет опубликована в 1979 г. Шестов цитирует Тургенева по *Полному собранию сочинений,* 3-е изд. СПб. 1891, поэтому тексты иногда отличаются от более академических изданий Тургенева.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ (1899-1977).

ИЗДАТЕЛЬСТВО „АРДИС"

В. Набоков, *Дар*
В. Набоков, *Другие берега*
В. Набоков, *Лолита*
В. Набоков, *Соглядатай*
В. Набоков, *Стихи*
Саша Соколов, *Школа для дураков*
Саша Соколов, *Между собакой и волком*
Неизданный Булгаков
Неизданный Зощенко
И. Бабель, *Забытые произведения*
Анна Ахматова, *Стихи, переписка, воспоминания*
Глагол 1 – Альманах „Ардиса"
Глагол 2 – Альманах „Ардиса"
А. Платонов, *Котлован*
А. Платонов, *Шарманка*
Иосиф Бродский, *Часть речи*
Иосиф Бродский, *Конец прекрасной эпохи*

Факсимильные издания

О. Мандельштам, *Египетская марка*
О. Мандельштам, *Камень*
В. Ходасевич, *Тяжелая лира*
А. Ахматова, *Подорожник*
М. Булгаков, *Дьяволиада*
Е. Замятин, *Нечестивые рассказы*
В. Маяковский, *Про это*
Б. Пастернак, *Воздушные пути*
К. Вагинов, *Путешествие в хаос*